

ВОСПОМИНАНИЯ

Листопад

В. К. Иков

Имя достаточно видного деятеля меньшевистской партии, профессионального революционера и высокообразованного литератора В. К. Икова только сейчас становится более известным нашему читателю. Такова специфика исторических обстоятельств, связанных с меньшевиками — самой крупной группировкой, противостоявшей большевикам внутри РСДРП. Меньшевики попадали в заключение и при царском режиме, и при советском. Иков как-то подсчитал, что он прожил 40 с лишним лет не по своей воле: в тюрьме и ссылке, на нелегальном положении, в эмиграции, причем более 20 раз попадал в тюремную камеру. Процессу Союзного бюро меньшевиков 1931 г., по которому он также проходил, в нашей литературе уделено малое место. До последнего времени считалось, что голоса его участников сохранились лишь в «Записках о революции» Н. Н. Суханова и в полностью не публиковавшемся обличительном документе — «Обращении к генеральному прокурору» Н. П. Якубовича. Сейчас прозвучит и голос Икова: это его мемуары, которые сохранились частично в его семье.

Владимир Константинович родился в 1882 г. в дворянской семье коренных москвичей. Его отец, рано умерший К. Н. Иков (1859—1895), был известным в свое время антропологом, учеником видного краниолога А. П. Богданова; мать Вера Ивановна — преподавательница музыки, сестра революционера А. И. Иванчина-Писарева. Живой, способный и впечатлительный мальчик, рано овладевший грамотой и обожавший книги, к гимназии уже прилично читал по-французски, чему его научила смольнянка-бабушка. Интерес к общественной жизни возник у Володи тоже рано, когда он читал вслух газеты смертельно больному отцу. Большое впечатление на него произвели рассказы вернувшегося из ссылки в начале 1890-х годов дяди-народовольца Иванчина-Писарева. Тому же способствовала домашняя обстановка: общение с будущей эсеркой Е. Н. Ошаниной, дававшей ему в юности, в тайне от взрослых, первые политические поручения, а также влияние мужа сестры — М. В. Петрова, связанного с социал-демократическими кругами и познакомившего юношу с работами легальных марксистов, изданиями плехановской группы «Освобождение труда» и Манифестом I съезда РСДРП. Сохранилось свидетельство о его увлечении учением Маркса еще в гимназии¹.

В Поливановской гимназии, при активном участии Владимира, был создан Якушкинский кружок, названный по имени правнука знаменитого декабриста. Дело началось с хождения на лекции проф. Р. Ю. Виппера в Историческом музее и других выдающихся преподавателей Московского

университета, с увлечения идеями декабристов, сочинениями В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева, а потом привело в конце 1890-х годов к участию в общемосковской тайной гимназической организации. Там проходили закрытые собрания, имелись выборные старосты и большая библиотека легальной и нелегальной литературы, установилась связь со студенческим, а потом и рабочим движением, осуществлялось гектографическое печатание воззваний. В январе 1902 г. по доносу провокатора ряд участников этой организации был арестован. Среди них оказался и Иков. Их присоединили к «студенческому делу» по поводу не разрешенной сходки 9 февраля в Московском университете, и они получили различные сроки ссылки в Восточную Сибирь. Икова сослали на три года в с. Ермаковское Минусинского уезда. Ссылка окончательно определила его дальнейший жизненный путь.

Отказавшись в декабре 1902 г. от разрешения вернуться под надзор полиции в Европейскую Россию, Иков, уже установивший связь с Сибирским союзом РСДРП, поселился в Красноярске, где погрузился в подпольную социал-демократическую деятельность. Она кончилась провалом в декабре 1903 г., после чего он бежал за границу. Начался эмигрантский период его жизни: Женева, Лозанна, Париж (по март 1905 г.), когда он, сделав внутри РСДРП выбор, примкнул к меньшевикам. В дальнейшем Иков участвовал в Мартовском клубе, Тактическом кружке П. Б. Аксельрода, являлся секретарем групп содействия партии, переправлял «Искру» в Россию. В те же годы сложилась его идейная и личная близость с Владимиром (Левицкий) и Сергеем (Ежов) Цедербаумами, братьями Ю. О. Мартова.

В марте 1905 г. Иков нелегально вернулся в Россию. Наступило время подпольной работы в разных городах. Опять потянулись годы заключения, ссылок, безработицы. До июля 1906 г. он был членом Екатеринославского комитета РСДРП, участником II Южнорусской областной партконференции в Полтаве, делегатом (с докладом) на IV, Стокгольмском съезде партии. С осени 1906 по декабрь 1907 г. жил в Москве как член Московского комитета РСДРП от фракции меньшевиков, был агентом ЦК партии по подготовке ее V, Лондонского съезда, а потом и его делегатом. Тогда же развернулась активная литературно-издательская деятельность Икова в ряде периодических изданий (под псевдонимами В. Мирон и В. Гродецкий).

После поражения первой российской революции он перебрался в Баку, где, два года трудясь в книжном магазине и общественной библиотеке, участвовал в клубной и профессиональной работе, сотрудничал в партийных изданиях «Гудок» и «Бакинский профессиональный вестник». Под фамилией Свенцицкого Владимир Константинович с конца 1909 г. жил опять в Москве, участвуя в редактировании журнала «Возрождение» и других партийных изданий. Летом 1910 г., при разгроме «Возрождения», он был арестован (взят на уличной демонстрации в толстовские дни) и, выпущенный под надзор полиции до конца следствия, получил затем три месяца ареста, проведя их в Суцеском полицейском доме. Там он познакомился со студентом Н. И. Бухариным, дружеские отношения с которым, несмотря на идейные расхождения, длились до 1931 года. В марте 1911 г. Икова выслали на три года. Он поселился в Харькове, где вошел в группу, ведущую клубную и профсоюзную работу, служил статистиком, слушал лекции на историко-филологическом факультете Харьковского университета. Снова перейдя на нелегальное положение, в марте 1912 г. уехал по паспорту В. И. Акулова в Петербург, где сотрудничал в «Живом деле» и «Новой заре», работал при социал-демократической фракции в III Государственной думе, принимал участие в Августовском блоке 1912 года.

Арестованный тогда же, был сослан на три года в Великий Устюг и Кадников. По амнистии, в связи с 300-летием дома Романовых, вернулся в 1913 г. в Петербург, где принял участие в редактировании «Нашей рабочей газеты». В июле 1914 г., при очередном разгроме рабочей печати, вновь был арестован и опять сослан на три года (в с. Ермаковское Минусинского уезда). С началом первой мировой войны в сибирских колониях ссыльных развернулась борьба между оборонцами и пораженцами. Иков стоял на позиции оборончества. Отбыв почти всю ссылку, после активного участия

в революционных событиях февраля 1917 г. в Минусинске, он вернулся в Петроград, где работал в агитационном отделе Совета рабочих депутатов и в ЦИК Советов первого созыва, сотрудничал в «Рабочей газете», «Голосе солдата», «Известиях ЦИК», дважды ездил для агитационной работы на фронт, в 5-ю армию. Примыкая к оборонческому крылу, он отказался войти в социал-демократическую фракцию Предпарламента, но стал секретарем кооперативной фракции и от нее вошел в Президиум Предпарламента. При выборах в Учредительное собрание работал опять с оборонцами, выдвинувшими по Петрограду самостоятельный список депутатов.

К Октябрьской революции Иков отнесся отрицательно. Он участвовал в Комитете спасения родины и революции, был избран в правление клуба меньшевиков-оборонцев «Рабочее знамя» и в декабре 1917 г. вошел в Петроградский комитет социал-демократов (оборонцев). В мае 1918 г. он переехал в Москву, где, порвав формально с социал-демократической партией, остался связанным с группой правых меньшевиков, возглавленных А. Н. Потресовым; участвовал в их совещаниях, работе кооперативных и профсоюзных организаций, сотрудничал в легальной печати («Дело жизни», «Рабочая газета», «День» и др.). Далее Иков работал до весны 1920 г. в редакционном отделе Центросоюза (редактор, затем заведующий отделом), до весны 1921 г. заведовал Московским представительством Вологодского кооперативного лесного союза, а с мая был товарищем председателя правления Всероссийского лесного союза. При новых выборах в 1923 г. его кандидатуру отвела коммунистическая фракция кооперативов, и он ушел в кооперативное издательство «Книжный союз». Все те годы он идейно метался, испытывая сомнения в ценности революционного марксизма.

В 1923 г. развернулась очередная волна репрессий по отношению к бывшим меньшевикам. Но еще в конце 1922 г. Иков перешел как бы на нелегальное положение. Продолжая входить в московскую группу меньшевиков, он установил связь с Бюро ЦК РСДРП, а в марте 1924 г., при ликвидации Бюро, был арестован и осужден на три года ссылки в Екатеринбургскую губернию. Первые полтора года провел в Камышлове, не имея работы, живя впроголодь и осуществляя заготовки для будущих литературных работ о Дж. Н. Г. Байроне, П. Я. Чаадаеве, А. С. Пушкине и др. В январе 1926 г., получив возможность переехать в Свердловск, следующие полтора года работал экономистом в Уралплане. Установив связь с группой ссыльных меньшевиков и став членом их кассы взаимопомощи, одновременно распространял нелегальную литературу, в том числе «Социалистический вестник». Постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ Иков, по окончании срока ссылки, получил ряд «минусов» (запрещение проживать в 8 крупных городах) на три года и в августе 1927 г. поселился в Туле, откуда по амнистии, в связи с 10-летием Октября, вернулся в январе 1928 г. в Москву.

Он нашел работу в Большой Советской Энциклопедии, сначала контрольным редактором, затем помощником редактора Отдела литературы, искусства и языкознания, фактически заведующим им под общим руководством В. П. Полонского и А. В. Луначарского, написал много статей для 1-го издания БСЭ («Гамсун», «Гауптман» и др.). В те же годы вышли четыре его книги — о Н. А. Некрасове, Н. А. Добролюбове и (две) о Н. Г. Чернышевском. 1 марта 1931 г. начался процесс Союзного бюро ЦК РСДРП, третий из числа крупных фальсифицированных в СССР официальных судебных процессов (после Шахтинского и процесса Промпартии). Все неудачи сталинской политики списывались на «вредительство». Арестованный по данному делу 11 января 1931 г., Иков был приговорен к восьми годам лишения свободы с последующим поражением в правах на три года. Он отбывал заключение в Верхнеуральском политизоляторе (апрель 1931 — октябрь 1933 гг.), Ярославском политизоляторе (до осени 1937 г.) и Орловской тюрьме (до февраля 1939 г.), почти все время в одиночке.

Находясь до 1937 г. в условиях, когда ему еще предоставлялась возможность писать в тюремной камере, он, осмысливая прошлую жизнь, составлял свои мемуары «Листопад». Их кн. 1 была посвящена детству

и юности, кн. 2 — ссылке в Сибирь 1902—1903 годов. При освобождении в 1939 г. ему было разрешено вынести эти книги со штампом «Проверено тюремной цензурой». Иков вспоминал впоследствии, что не выдержал бы заключения, если бы все те годы провел при режиме, возникшем после прихода в НКВД Н. И. Ежова. Получив освобождение, он жил в Малоярославце, порой нелегально приезжая в Москву. Как «101-й» (так в народе называли людей, имевших право жить не ближе 100 км от Москвы), он не мог устроиться на работу, поэтому брал на чужое имя переводы и составление рефератов. Осенью 1939 г. начал писать кн. 3-ю «Листопада», посвященную эмиграции 1904 — начала 1905 годов. В 1941 г. эвакуировался.

Великую Отечественную войну переживал крайне напряженно. Вера в победу никогда его не покидала. Именно любовь к России не позволила Икову покинуть Родину после октября 1917 г., хотя довольно скоро (судя по его письмам от 1921 г.) он понял, что ничего хорошего от нового режима ему ждать не придется. Возвращение в марте 1942 г. из эвакуации совпало для него с окончанием трехлетнего срока поражения в правах, и он, получив разрешение на проживание в Москве, поступил на работу в Фундаментальную библиотеку общественных наук (ФБОН) АН СССР в качестве главного библиографа сектора истории. Он составлял библиографию трудов акад. Е. В. Тарле и работал над библиографией трудов акад. Р. Ю. Виппера.

С начавшейся вскоре после войны очередной волной массовых арестов Иков, вынужденно уйдя из ФБОН, осенью 1948 г. устроился во Всесоюзную библиотеку иностранной литературы, где его снова настиг злой рок. Преклонный возраст (свыше 69 лет) не спас его, и в июне 1951 г. его снова арестовали. При обыске изъяли кн. 1 «Листопада», а также написанные в 1940-е годы продолжение кн. 3 мемуаров и «Замогильные заметки о тринадцати годах (1905-1918 гг.)» в двух общих тетрадах. Эти произведения, как и его тюремные стихи 1936 г., по решению суда были сожжены с формулировкой «как не представляющие интереса для суда и ценности для арестованного». Икова по приговору Особого совещания осудили на пять лет лагерного режима за хранение огнестрельного оружия (в дедовском сундуке обнаружили ржавый кремневый дульный пистолет XIX в.). Обращение его жены и моей матери С. А. Ширяевой с письмом к И. В. Сталину (он в свое время познакомился лично с Иковым на одном из сибирских этапов) с просьбой, учитывая его возраст, направить Икова в лагерь с умеренным климатом (его отправили в Братск) осталось без последствий. Ей ответили: «Где был, там и будет, передайте теплые вещи». По заключению врача годный только к легкому физическому труду, он использовался в лагере как дневальный и работал в библиотеке.

Смерть Сталина и последующая амнистия освободили Икова, и в июне 1953 г. он вернулся в Москву. На этот раз его прежняя жизнестойкость была сломлена скоротечной формой туберкулеза, развившейся в лагере. Тем не менее, он нашел силы приняться за восстановление уничтоженной книги «Листопада» под названием «Воспоминания». Скончался он 29 декабря 1956 г., его прах захоронен на кладбище «Введенские горы». Владимир Константинович был реабилитирован уже посмертно.

Из его рукописного наследия сохранились после его смерти кн. 2 и 3 мемуаров (207 стр. машинописи). Ныне они помещены в Центральный муниципальный архив г. Москвы, где хранятся в фонде 3174. Частично туда же сланы, в оригиналах или ксерокопиях, письма Икова к жене за 1920—1956 годы.

Подготовка части этих мемуаров к печати и вступительная статья — Н. В. ШИРЯЕВОЙ.

Примечание

1. БЕЛЫЙ А. На рубеже двух столетий. М. 1989, с. 374.

Ширяева Наталья Владимировна — историк.

I. В Мекке русской революционной общественности

Интермедия

1.

Ну, вот и Женева! После кратковременного пребывания у М.Пайкеса (приехавшего за границу месяца за 2—3 до меня) я снял комнату на rue de Saconnex, исконном местопребывании русских эмигрантов. Хозяин мой, выходец из России, старый «чернопеределец» Левков, за 25 лет пребывания на чужбине совершенно офранцузился, хотя вполне уверенно владел и родным языком. Но его дочь, девочка лет 14-ти, едва ли знала и пяток русских слов. Левков стал анархистом, что являлось логическим продолжением его идейного прошлого. В качестве такового он люто ненавидел Г. В. Плеханова (бывшего своего товарища по организации) и с.-д.-тию вообще. То, что он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, являлось, бесспорно, необычным, почти беспримерным случаем, даже и среди закоренелых эмигрантов.

Считается, что русские легко усваивают чужие языки. Мой опыт свидетельствует, что это, несомненно, одна из благочестивых легенд в цикле сказаний о нашей всечеловечности. Я часто вспоминал за рубежом матросаденщика Фадеева из «Фрегата Паллады». Его спрашивали, как он объясняется в Сингапуре с туземцами. «По-англичански, — отвечал он, — а вот возьму в руку вещь, да и спрошу: омач? (how much?)», т. е. сколько? Вот такой «омач» бытовал и в нашем кругу. В самом деле, язык знаков, жестов, мимики с добавлением нескольких ходячих словечек и оборотов *bonjour, merci, plaît-il* (добрый день, спасибо, чего желаете) и т. п. заменял живую полноценную французскую речь. Универсальной отмычкой служило знаменитое «*сомте са*», т. е. как это. Некоторые его склоняли: *donner moi* («дайте мне», показывая на вещь) «полкомсы», да еще изобразят на пальцах нужную меру. Французы — народ сообразительный и деликатный: очаровательно улыбнутся и отпустят в точности... Бывали, понятно, и досадные опечатки.

Как-то раз одному свежеспеченному эмигранту, Грише Виленскому, поручили его домашние купить в лавочке гороху (*pois*). Как человек высокой культуры (перед побегом он сдал экстерном экзамен за четыре класса гимназии) он был глубоко обижен вопросом сестры, сумеет ли он объясниться в *épisserie* (бакалея) и, главное, добраться назад, домой? Ему ли не знать французского языка? К тому же он уже два дня в Женеве, а лавка за углом. Ждем-пождем, пропал наш смельчак. Махнули рукой на *petit pois* (горошек), отобедали, стали чаевать. Наконец, является усталый и чуточку смущенный экстерн и вручает сестре огромный пакет. Та в ужасе: «Зачем так много? И где ты пропадал?». Выйдя из лавочки, он повернул не в ту сторону, запутался, обратился к прохожему с изыщно — по *Margot* (французский учебник) — построенной фразой: «Как пройти на *Place des grands philosophes*?» (Площадь великих философов). Француз явно был не в духе, потому что необычайно нелюбезно буркнул: «*Tout droit*» (т. е. прямо). Ну, вот, наш Гриша и пошел сворачивать без страха и сомнения во все улицы направо (*tout à droit*). К счастью, наткнулся на земляка, не имевшего аттестата, но знавшего город, и он вывел Гришу на путь истины. Дальше — больше; развернули пакет, а там — груши (*poire*)! Значит, в лавке специалиста по французско-нижегородской речи не оказалось, и Грише, то ли ослышавшись, то ли по чистоте его выговора, дали вместо горошка груш. Это еще не совсем плохо: могли дать перцу (*poivre*)...

Помню, как-то в парижском ресторане мы заметили на меню неведомое блюдо «*Grenouilles*» (лягушки) под каким-то дьявольски пикантным соусом. И хотя вся наша компания могла свободно флиртовать на

французском языке с ресторанными *demoiselles*, тут все, как на грех, сразу забыли, что такое *grenouilles*. Подали — ничего не понять, и вдруг осенило — лягушки!

Что краткосрочные беженцы, приезжавшие на побывку, отдохнуть или поднатореть в революционном мастерстве, не имели времени усвоить даже и азбуку чужого языка, понятно. Но ведь и большинство отуземившихся, пустивших корни сородичей знало только азы. Был в Париже почтенный многовековой эмигрант Зимин. Он брал за обедом всегда две котлеты, но 25 лет утолял свою котлетную страсть так: «*Garçon, s'il vous plaît, une côtelette!*» (официант, пожалуйста, одну котлету). И тут же добавлял, поднимая два пальца: «И еще *une côtelette!*». Но наших за границей мало смущали такие пустяки, как ограниченный запас комнатных и закусовых слов. Да и верно: это лишь с четверть беды.

* * *

На берегах чудесного Леманского озера, в преддверии альпийской горной цепи с ее сторожащей Женеву вершиной *Mont-Salève*, на родине беспощадно сурового и не допускавшего сомнений рационалиста-механизатора Кальвина и мятущегося преромантика Руссо, выходцы из России создали себе суррогат отечества и плацдарм боев против двуглавой хищной птицы, оазис вольной русской мысли и слова, недоступный для непосредственной мертвой хватки Департамента полиции. Любопытная это тема: Женева и революция. Провинциальный городок, привычное место отдыха богатых иностранцев, международный *hôtel* (гостиница), собиравший отовсюду туристов и альпинистов, тихий заштатный угол, вокруг которого было немало вилл русских аристократов, сыграл, как ни один город в Подлунной, исключительную роль в истории нашего общественного движения и политического развития.

Сыграл помимо своей воли, сам того не подозревая и не желая и совсем к тому не стремясь. Некрополь для многих наших соотечественников, Женева в XIX—XX вв. давала приют сотням беглецов, ряду поколений русских революционеров. Здесь родился не один десяток партийных программ, течений, платформ, уставов и т. д. Да и не только для российских вольнодумцев служила эта мировая гостиница правоохранным убежищем. Ту же услугу оказывала она, и не раз, гонимым еретикам, отщепенцам и протестантам всех стран и эпох, хотя порой и сжигала на костре своих собственных бунтарей.

И в то же время малопривлекательный город! Невольно приходят на ум слова Герцена, попавшего в Женеву в 1868 г., в годы своего предсмертного метания по Европе. Он писал в «Былом и думах»: «В Женеве все хорошо и прекрасно, уютно и чисто, а живется туго. Начнешь рассуждать, ясно, как дважды два, что в наше серенькое время мало мест лучше в Европе, а наименьше квартиру, так и тянет куда-нибудь, лишь бы из Женевы вон». Отзывы Достоевского значительно суровее, озлобленнее и желчнее. Вот случайные выдержки из его писем друзьям в 1867—1868 гг.: «Женева скучна, мрачный протестантский глупый город, со скверным климатом... Дрогнут все от холода... Бань у них нет никаких, живут, как дикие... Женева пакость, и я в ней обманулся... Климат сквернейший, город скучный. Озеро удивительное, берега живописные, но сама Женева — верх скуки. Это древний протестантский город. Ужасно здесь скучно... Женева из всей Швейцарии стоит на самом пакостном месте», и т. д., кончая обвинением швейцарцев во всех пороках, вплоть до пьянства и нечистоплотности моральной и физической.

Мы не знали этих отзывов. Мы не углублялись в изучение достоинств и недостатков города и аборигенов. Мы просто не интересовались ими, не замечали антуража, спокойно пользуясь и ваннами, и газом, и трамваем, и прочими доступными нашему карману дарами буржуазной культуры.

А контраст между ними и нами был кричащий, разительный. Два мира,

два стиля. Два мира! Там — внешне спокойное, размеренно прочное течение жизни, овеянной историческими преданиями и вековыми традициями. По язвительному слову Достоевского, это «самая чахлая, дурного вкуса, дрянь гососо» (т. е. старомодная). Пусть так! Но это старинная, отбродившая, отстоявшаяся культура, это цепкий, свой, налаженный быт, это тени и призраки былого героизма и замолкших бурь. И рядом наше, бивуачное существование перелетных, чужих птиц, которые здесь не сеют и не жнут, но которых зато и не питает никакой отец, ни небесный, ни земной. Они, эти потомки мифического Телля и вполне реальных, исторически осязаемых, наемных ландскнехтов, несших платную караульную службу около всех Бастилий и умиравших на подступах ко всем Тюильри во славу нанимателя-короля, они несколько боялись, а больше всего презирали нас, современных гуннов. Еще бы! Люди без родины, без собственности, люди, возвращающиеся домой на заре и вечно галдящие на улицах и в комнатах...

Мы, если и вспоминали о них, то лишь затем, чтобы высокомерно, иронически прищуриться на их захолустное, тусклое прозябание в стороне от европейской столбовой дороги, закрытое горами от катастроф и ураганов истории. Никаких точек соприкосновения и сближающих моментов, ничего связующего! И не только с буржуазией, с мещанством, с обывателями, но, в сущности, и с интеллигенцией, с рабочими, с местной с.-д.-тией, с союзами, с просветительными обществами и т. д. Так, случайные встречи на интернациональной, внебытовой почве, по большим праздникам, на гала-митингах и пр. Что мы знали о ее старинном университете? Студенчестве и профессуре? Об их науке, литературе и искусстве? Об их нравах и быте? Об их запросах и интересах? Ничего или, что еще хуже, обрывки, отрывки, анекдоты, которые рассказывались еще в Ноевом ковчеге.

2.

Да, верно: Женева — образец скуки и серости. Чудесна ее рамка: озеро, горы, прелестные окрестности (в широком охвате), вся эта гирлянда Clarens, Montreux, Glion, Ferney, Saxon-les-Bains etc. (названия курортов). Но отнимите это обрамление, и город может исчезнуть, никто и не заметит. Два-три интересных здания еще не делают ансамбля. Одна из достопримечательностей старого города — тюрьма. В центре его, около городского сада, между университетом и библиотекой, почти напротив театра, вздымалась гордо к небу свои башни древняя тюрьма-крепость с чудовищно толстыми стенами. Обратите внимание на отвесный, как скала, голый боковой фасад, где на самом верху, у кровли, мерцает свет в единственном крохотном оконце. Там, в одиночке, томится пожизненный узник, анархист Луккени, убивший, в порядке безмотивного террора, австрийскую императрицу Елизавету, ту самую, которая поставила единственный во всем мире памятник великому Гейне на о-ве Корфу. Вот и все ценности Женевы. Но тюрьма — это имманентная принадлежность всякого упорядоченного человеческого общежития, она не специфически женевский вклад в цивилизацию.

Есть еще Шильонский замок, вилла Диодати-Байрона. Но это уже за чертой собственно города. Ошибся бы, однако, тот, кто подумал бы, что наше отношение к другим городам, например, к Парижу было существенно иным.

К кому, казалось бы, прилепиться всей душой, как не к этому, по выражению Гейне, «городу свободы, энтузиазма и мученичества, так много выстрадавшему за освобождение человечества». Книжно, теоретически, мы все это знали. А жили не столько в Париже и Парижем, сколько... скажем, для примера, где-нибудь в районе Козихи или Песков, очищенном от городских и шпиков... Конечно, не все! Были знатоки, — так сказать, дегустаторы — Парижа среди старых эмигрантов вроде покойного М. П. Вельзмана-Павловича (впоследствии автора длинных и томительно-скучных трудов о кознях международного империализма на Востоке). Но он любил и знал лишь, если позволительно так сказать, революционную топографию Парижа, т. е. когда и где, на каком углу стояла в ту или иную

революцию баррикада, где дрались последние коммунары или люди 48-го года. Памятники парижского мученичества на его докладе в годовщину Коммуны оживали, это правда. Но ведь он видел только одну грань в бесконечно-гранном облике Великого Города...

Десятки давних русских парижан, замуравивших себя в пределах B-d St. Michel, rue St.-Jacques, мир коих кончался в café Closerie de Lilas на B-d Montparnasse или на place d'Italie в café (наименования улиц, площадей и кафе) с одноименным названием, понятия не имели даже о том немногом, что знал Вельтман (может быть, правильнее: что считал нужным рассказать). И хотя здесь, рядом, под боком, находились Panthéon, Sorbonne, Observatoire, Luxemburg (Пантеон, университет, обсерватория, Люксембургский дворец) и пр., они — честное слово! — никогда не бывали там. Многие путали Louvre-магазин с Louvre-музеем и вряд ли отчетливо представляли, чем замечателен Musée Carnavalet (название музея), где находится Maison de Victor Hugo (дом Виктора Гюго), стоит ли посетить Hôtel de Ville (городской отель).

И уж, конечно, их силком не вытащишь на осмотр чудеснейших часовен и церквей (потому что «религия — опиум для народа») или замечательных парижских кладбищ, разве лишь на Père Lachaise (название кладбища), к Mur des fédérés (стена федератов), где пачками расстреливали в 1871 г. коммунаров. И не пойдут они с тобой шататься без цели по парижским улицам, мостам, площадям и окрестностям... А молодежь? А мои сверстники? Сколько среди них, этих культурных людей, приезжавших в Париж на краткий срок с тем, чтобы расстаться с ним навсегда, сколько среди них имелось таких, кто так и не нашел свободной минуты зайти куда-либо просто ради любопытства. Зачем, спрашивается, они тратились на проезд и жизнь здесь? С партийной русской точки зрения Париж представлял собой провинцию, а подойти к местной жизни нашему брату было совсем непросто, да и зачем...

Вспоминается мне, чем я соблазнил одну приятельницу посетить Лувр. «Вот, — говорю, — Вы так любите Глеба Успенского. Неужели Вас не интересует самой посмотреть, что пленяло его в Венере Милосской и почему она «выпрямила» Тяпушкина?» (заглавие известного рассказа Г. Успенского). Пронял! Пошла в Лувр и, к чести ее, потом, таясь от других, стыдясь себя, она частенько бегала туда, хоть на пять минут, побыть у богини. А мне просто досадно стало: за 3—3^{1/2} месяца жизни в Париже я бывал в Лувре по крайней мере через день — два и хоть бы раз я встретил там своих. Видел, впрочем, однажды: пришла некая особа в зал Венеры, бегло взглянула на нее, посмотрела на надпись и села с книжкой на диване у окна. Подошел к ней служитель, извинился: «М-м, здесь не читальня». Она обиделась и совсем покинула Лувр.

Прошу не понять меня дурно. Я против того, чтобы водить всех на аркане по музеям и галереям в порядке принудительного самообразования и эстетического роста. Ну, не тянет человека, и Господь с ним! Все равно такой обязательный минимум художественных прививок ничего не даст. Наоборот, вызовет то же судорожное отвращение ко «всем вашим Скопасам, Тицианам и Роденам», как у нас в гимназии вызывали Цезарь с Гомером... Диккенс обессмертил город Дэлборо, в институте коего слушателей «обязательно били по головам газом, воздухом, солнечной системой, паровыми машинами, Мильтоном, клинообразными надписями, Шекспиром» и т. п., а под конец угощали «хоровым пением негров в придворных костюмах времен Георга II» или «смешанным концертом». Нет, я против этого. Я просто отмечаю факт полного равнодушия, добровольно налагаемого на себя в отношении всего за пределами специальности. Тем более, что и специалистами-то многие из нас оказались потом неважными...

* * *

В сущности, здесь не все смешно и странно; кое-что и драматично. Можно даже понять, как слагалось такое настроение у осевших эмигрантов. Вероятно, в первое время их душевное состояние сопоставимо с психологи-

ей пассажиров, ждущих поезда. График сильно разбит, перебой в движении, задержки в пути. На чужой «станции» очутились люди, выброшенные на мель волной отлива, поражением, неудачей. Еще вчера они играли некую роль в общей экономике природы, были плотно пригнаны к месту, ходили в определенной трудовой упряжке. И вдруг — крах, земля уплывает из-под ног, и на место пусть плохого, но твердого и крепкого быта и уюта становится тряская, зыбучая безбытность. А они еще не верят, что это — катаклизм, что их прибило сюда надолго, они всем естественным образом еще там, в заветной стране, отрезанной от них тремя кордонами. Вот-вот придет их поезд. А поезда все нет, «и бысть утро, и бысть вечер, день второй», все еще ждут с минуты на минуту поезда...

До галерей ли тут, когда завтра вернутся к себе? И текут месяцы, годы, вступает в права властный быт. О, этот тяжкий, отравленный, эмигрантский быт, сотканный из хронической нужды, случайных заработков, внутренних займов, вынужденного безделья. А тут еще отсутствие вкуса и интереса к иноземному, неумение читать и понимать чужое, плохое знание языков, своеобразие окружающих нравов и культуры, так непохожих на свои на берегах Оки, Днепра, Воронежа и пр. Кроме того, они русские; значит, они неспособны работать и отдыхать с толком, целесообразно и систематически учиться. Они любят пить чай и беседовать 24 часа в сутки. А потом... Ведь то, что у нас перед глазами, вовсе не обязательно всегда нам хорошо известно, скорее наоборот. Часто коренной житель и не догадывается, какие сокровища расположены у него под самым носом, а их в один день сумел откопать любознательный и шустрый приятель, приехавший на две недели в отпуск. Я лет шесть ежедневно по несколько раз проходил в Москве мимо соседского дома, не подозревая, что этот особнячок — быв. дом князей Волконских и что в нем жил декабрист С. В. Волконский по возвращении из Сибири.

* * *

Но у меня речь шла о безнадежно вросших в эмиграцию стариках. А молодые... Ну, молодым не до того было, потому что некогда было. Все мы приезжали сюда, зная наперед, что не застрянем надолго за границей. Это раз. Во-вторых, просто-таки не хватало времени при том образе жизни, который был почти стандартным в те годы, за редкими исключениями, у всех нас. Если я не знал, где проходит ось (да и есть ли она?), вокруг которой обращаются мечты, сомнения и надежды туземцев, то мне очень хорошо было известно, в каких границах замкнута наша жизнь, на чем «вертится мир» наших чаяний и помыслов.

Прекрасен l'île de Jean-Jacques (остров Жана-Жака Руссо), этот островок с памятником великому бунтарю XVIII в., чаровавшему Конвент и утопистов всего мира, включая и Льва Толстого. Хорошо отдохнуть здесь под зеленой скверой, в тихий закатный час, когда так радует взор спокойное, милое озеро. Сидишь на скамеечке без дум, никому до тебя дела нет, смотришь на играющих детей и забываешь на миг о недоедании и безденежье, об отсутствии вестей из дому, о российской разрухе и войне, о мучительно непонятном расколе и о трудности в условиях жестокой фракционной борьбы вернуться к партийной работе. Хорошо!

Прекрасно и знаменитое Jonction (соединение), место слияния бурной, мутной Арв и прозрачной, важно медлительной Роны; их волны долго текут рядом, не уступая друг другу, отказываясь слиться (что это? Символ наших дел в партии?), пока не станут, уже в пределах Франции, единой рекой. Текут волны под сенью сошедших к берегу деревьев и будят в вас беспокойно-щемящее чувство тоски по родным местам. Хорошо! А само озеро? Неутомимо радостное, вечно ласковое, неизменно приветливое, безмятежно лазоревое? Туда, подальше от отелей на quai du Montblanc (набережная Монблана) с бродячими итальянскими певцами, у которых голоса лучше, чем у Мазини и Баттистини и которые приводят в восторг английских ladies (леди)... Нет, туда, к Шильонскому замку, к байроновской villa

Diodati (название поместья)... А то взять лодку и уплыть далеко, далеко. Хорошо!

А окрестности? Даже ближайшие, простенькие, вроде Verrier... Сколько зелени, воды, полянок, и можно незаметно очутиться во Франции, если не перехватит на кордоне жандарм. А горы, черт возьми! Чем плохи? Понятно, это не Montblanc (Монблан), не Jura (Юра), а всего лишь Salève (Салев). Но, Бог мой, я в своей жизни ничего еще, кроме Воробьевых и Поклонной гор, не встречал орографического, мне и на Salève-то не легко было взобраться. Да, все это превосходно. Но, как говорится у Пушкина: «Ты прекрасна, спору нет, но царевна всех милее, всех румяней и белее». Так вот и нам, пасынкам России на берегах Леманского озера, всего прекраснее и милее казались café Handverk'a (название кафе), арсенал ожесточенных битв русских с кабардинцами, зал для общих митингов и больших собраний с реферетами, дебатами и пр. или какое-либо другое кафе, помельче, для клубных, фракционных или кружковых заседаний и занятий.

Встают видения. Мерцает тускло сквозь табачно-дымовую завесу недоумевающее электричество. Вокруг стола 3—4 десятка озабоченно возбужденных лиц, безотрывно и всецело погруженных в изобличение хитрых козней противника. Идут часы, вечера, день за днем льются речи, и тклет свою нескончаемую пряжу, никогда не распуская ее, неутомимая фракционная Пенелопа. А туман все сгущается. «О, моя юность, о, моя свежесть!». Вот где красота, вот где патетика тех дней. Вот где поэзия женевского периода русской революции, вот где закон и пророки моего вторичного огненного испытания.

3.

Мир изгнания — особенное явление, перефразирую я слова Гёте о крови — «особенном напитке». В эпохи упадка он цветет сорняком. Этого я почти не переживал: в 1904 г. революция шла по восходящей линии, и минутами достижений искупались часы разочарования и недостатков. Но умолчать о последних — значило бы исказить перспективу. Вот стали мы, новички, несколько habitués (освоившиеся) в кругу большой колонии. Вошли в Женевскую группу содействия партии «Единение», а я, спустя некоторое время, стал в ней даже секретарем (по выбору). Начали посещать «тактический кружок» (для отъезжающих на партийную работу в Россию) под руководством П. Б. Аксельрода; еще раньше сделались завсегдатаями Мартовского клуба. Обзавелись знакомствами, приятелями, даже друзьями.

И все же и теперь не совсем рассеялись та оторопь, то ощущение нереальности, призрачности объективного мира и иллюзорности личного существования, которые охватили меня на первых порах. Всматриваюсь, обратясь назад, в общую обстановку эмигрантской жизни. В чаду и утаре острого возбуждения живет в Женеве довольно многочисленная эмигрантская семья. Она отгорожена от всего мира, варится преимущественно в собственном соку. Вновь прибывающему, доколе сам он не втянется в коловращение жизни, непонятны ее поступки. Прислушайтесь к разговорам и спорам, почитайте кое-какие писания. Странное впечатление! Кажется, что русские события — война, политический подъем, великие потрясения волнуют нас много меньше, чем кружковые происшествия, придворная хроника, стычки вождей, дворцовые перевороты и т. п. Вряд ли я ошибусь слишком сильно, если скажу, что чудовищные поражения на войне обсуждались с меньшим интересом и пониманием, чем карикатуры Лепешинского. И уж, конечно, такие небывалые в России явления, как земские съезды, возникновение объединений и союзов профессиональной интеллигенции и многое другое, находили далеко не столь гулкий резонанс, как брошюры Галерки, Красикова, Троцкого. Аудитория жадно ловила и смаковала все фракционное, эмигрантское, каждодневное, не гнушаясь порой пустяковыми слухами, сплетнями, дрызгами.

Ось нашего круга упиралась своими остриями в два клуба: Мартовский (по имени руководителя — Ю. О. Цедербаума-Мартова) и Ленинский (от имени В. И. Ульянова-Ленина). Все наши мысли и переживания связывались именно с этими идейно-организационными центриками, с этими друговражескими станами. Говорить о дружбе между нами уже в 1904 г. в Женеве не приходится. Правда, Г. В. Плеханов, больше в целях педагогических, утверждал, что мы и большевики — всего лишь «враждующие между собой братья». Но сам он, столь много помогавший углублению раскола, вышел из редакции «Искры», основал свой собственный бюллетень «Дневник социал-демократа», т. е. подкладывал топливо в костер, зажженный под «братьями». Враждой был отравлен воздух, и не только за границей, но и в России. И могло ли быть иначе? «Где за веру спор, // Там, как ветром сор, // И любовь и дружба сметены». Гёте (в «Коринфской невесте») имел в виду религиозные распри. Но я лично не взялся бы провести грань между верой и политикой. Революционному миросозерцанию неизбежно присущи сектантство, нетерпимость, фанатизм.

Беглецы из России весьма быстро самоопределялись и размещались по фракциям. Я лично что-то не помню «диких» с.-д.-тов; мало было и длительного положения Буриданова осла (классическим примером такового мог служить А. И. Рыков). Имелось два замкнутых круга, связанных между собой чисто формально. И это несмотря на общность только что принятых на съезде программы, устава, тактических установок, несмотря на наличие выбранных на съезде центральных учреждений ЦК и ЦО. А в действительности все превратилось в фикцию, никто не считался с решениями съезда; почти не было никакой общепартийной работы; дисциплины не нарушал только ленивый. В одной шуточной пародии эмигранты-члены РСДРП грустно декламировали: «Часто холодные, вечно голодные, нет у нас партии, есть экспедиция».

Идейные расхождения влекли за собой личные трения и разрывы. Так порвалась крепкая дружба Ленина с Мартовым; тени отчуждения легли между ближайшими друзьями, связанными десятилетиями совместной жизни, труда, лишений и борьбы (Плеханов, с одной стороны, Аксельрод и Засулич — с другой). Если бы речь шла о таких невинностях, как два клуба, две столовые, две библиотеки и т. п., это было бы безвредно. Но уже две группы содействия партии в одном городе, пожалуй, чрезмерная роскошь. Но что спрашивать с Женевы, когда в России «братья» не давали друг другу явок, квартир для ночлега, не допускали к работе? Когда на местах создавали по два параллельных, отдельных комитета одной партии? Это был не только «юридический чересчур», но и большой политический скандал и соблазн.

* * *

Если бы мне задали сочинение на тему «День эмигранта в Женеве в лето от основания с.-д. партии шестое», я не смог бы сделать это сносно. Гораздо легче удавалось стряпать гимназические сочинения: жизнь русского помещика по Гоголю, или Коробочка и Анна Андреевна как культурно-исторические типы и пр. Потому что в первом случае уцепиться не за что: все невещественно, зыбко, неуловимо. Гораздо, так сказать, насыщеннее, материальнее, содержательнее текла жизнь в «Таганке», ДПЗ (дом предварительного заключения) в Петербурге, в Красноярском тюремном замке и прочих местах изоляции. А попал в Мекку, и о Боже! Все дни серы, нудны, как небольшая зубная боль. И жизнь рисуется длинным пустынным коридором, где не на чем отдохнуть глазу. Вроде вечности по Свидригайлову: небольшая банька.

Казалось бы, располагая необычным количеством свободного времени, эмигранты имели полную возможность поучиться, позаниматься, почитать, изучить хотя бы один какой-нибудь иностранный язык. В России, на нелегальной работе, такого случая не представится. Но нет! Можно с прискорбием утверждать, что серьезно работали над книгой только наши старики,

как Плеханов (всю жизнь упорно учившийся), Ленин, Ортодокс, а из молодых вряд ли я наберу и пяток лиц. Прежде всего потому, что все чувствовали себя на отлете: побуду месяц — другой и вернусь домой. Затем, и это главное, все мы по уши увязли в партийной борьбе и в партийных, даже скорее фракционных, делах. Читали газеты, журналы, брошюры, изредка европейскую печать. Даже когда расходы на культуру ничего не стоили, особой тяги к ней не наблюдалось. Помню: на Международном философском съезде 1904 г. из сотни-двух русских эмигрантов я встретил лишь Плеханова и Ортодокс.

Уже тогда это почти всеобщее безразлично равнодушное отношение моих компатриотов ко всему *jenseits* (кроме) § 1-го устава партии казалось мне преувеличенным. Но одновременно я видел здесь доказательство их безупречно глубинной революционности и горестно, хотя и бесплодно, вздыхал об отсутствии ее у себя. Совестно и сейчас признаться: мне хотелось стихов, музыки, хороших книг, той беспорядочной, пестрой умственной трапезы, к которой я привык с юности. И я чувствовал себя недостойным паломником у черного камня Каабы, не отряхнувшим от ног своих праха старого мира и алкающим его отравы. Как знать? Может быть, и другие носили в себе этого ветхого Адама. Но мне чудилось, что у них, по выражению Тургенева, «дважды два тоже четыре, но как-то бойчее выходит». Чужая душа — всегда потемки, и особенно тогда, когда беседуешь с ней лишь о передовой в последнем номере «Искры».

* * *

Я не могу все же жаловаться: некоторый капитал в Женеве я приобрел. Мои секретарские функции в Группе содействия носили преимущественно технический характер (организация собраний, подбор лекторов и докладчиков, продажа литературы и т. д.). Помогал я также отправке в Россию газеты «Искра» разными потаенными путями (о, это была целая сложная наука!). На лидерство я не претендовал по молодости и острому ощущению своей для него неподготовленности и негодности вообще. Я никогда, видимо, не имел нужного для таких функций «жеста», повторяя термин князя Мышкина из «Идиота» Достоевского. Я и позже, на родине, на какие бы высоты ни подымала меня судьба, всегда неохотно, после долгих колебаний, брал на себя эту, чуждую моему характеру, роль.

Некоторые члены Группы вели кружки среди учащихся и менее подготовленных эмигрантов. Другие выступали с докладами, особенно в провинциальных захолустьях Германии. Я и на это не имел тогда смелости. Как странно! В Москве, в Красноярске, в Иркутске, в кругу гимназических друзей, среди товарищей по ссылке, порой значительно превышавших меня и годами, и житейским опытом, и знаниями, я никогда не терялся, не робел, за словом в карман не лазил и мог огрызнуться от «семи собак». И везде с моим мнением считались, относились ко мне, как к равному, не зажимали мне рта насмешками, отношением сверху вниз. А вот в Женеве все сложилось по-иному. Но об этом я буду еще говорить в дальнейшем.

Как бы то ни было, времени свободного у меня было много, хоть оставляй. И, если отбросить Мартовский клуб, собеседования в кружке Аксельрода, посещение разных митингов и рефератов, то остававшийся солидный избыток незанятых часов заполнялся, главным образом, выражаясь фигурально, чаепитием с разговорами в тесном, своем кругу, а затем чтением. Так жил я и в ссылке, так шла жизнь и в общих камерах тюрем...

Оглядываясь теперь, сорок лет спустя, назад, невольно выпадаю в грусть: до чего же нерасчетливо, нецелесообразно, зряшно тратили мы драгоценное время, не умея и не научившись ни работать, ни отдыхать. «*Mais c'est russe et vous savez* (но это русское, и вы знаете) — надобно любить родное». Сколько упущено безвозвратно возможностей, сколько попусту израсходовано нервов, мозга, сил, сколько не прочитано хороших книг (и наоборот, как много прочитано не стоящей внимания макулатуры). Я знаю теперь, что, в сущности, на свете очень мало книг, которые стоит

читать, которые обязательно надо прочесть. Но далеко, далеко не все из этого небольшого, бессмертного золотого фонда известно мне. Зато память моя хранит под спудом тонны печатногохлама.

Нередко потом думал: на какой предмет, почему я торчал столько времени в Женеве и Лозанне? Почему хотя бы не побродил по той же Швейцарии или Италии? Материально жилось нам довольно-таки невзрачно. Весь месячный доход наш исчислялся 15 р. (около 6 франков) в месяц на двоих. Раза два получил я подкрепления от моих московских приятелей; в начале 1905 г. послал мне Господь Бог небольшой гонорар за статью в журнале «Правда». Пришлось бросить комнату Левкова, перебраться в квартиру без мебели на rue de Verrier (название улицы). Прекратили обедать в русской столовой и даже в жалкой женевской безалкоголичке. Питались дома чаем с хлебом, супом из костей и кубиков Maggi (название фирмы), помидорами. И все же я, как прикованный и зачарованный, сидел сиднем в Женеве. Замечу, кстати, далеко не все мои соседи имели даже такую скромную твердую ренту, как я. Некоторые просто голодали; были случаи, когда люди падали в обморок на собраниях из-за истощения. И все же зубами держались за Женеву. Нелегко объяснить это упорство. Несомненно, известную роль играла неясность политической линии меньшевизма самим его адептам. С чем ехать в Россию? Что защищать? Что говорить рабочим, в частности, как объяснить им причины и сущность наших разногласий? Но, понятно, это лишь часть мотивов, удерживавших нас, и меня в частности, на улицах Женевы и Парижа, Берлина и Вены.

* * *

Возвращаясь к «душе», хочу прежде всего взять под защиту подполье и эмиграцию. Люди всегда и везде глубоко равнодушны друг к другу... «Мы все обладаем достаточной долей христианского долготерпения, чтобы переносить страдания... других людей», — сказал Ларошфуко. Чужая душевная тревога, боль, драма. Как редко интересуемся мы ими по-настоящему, серьезно, дружески, осторожно и чутко подходя к человеку тогда, когда он больше всего нуждается во внимании, в бережном отношении, в понимающем взгляде, в крепкой и мягкой поддержке со стороны. Обычно тут-то мы проходим мимо человека. В суете, спешке и занятости подполья каждый из нас был не самоцелью, а орудием, рабочим инструментом, врубовой машиной, вгрызающейся в пласты подлежащего сносу социально-политического строя. Нас ценили, как «живой инвентарь».

В подполье (больше, чем в нормальных условиях) некогда разводить сентименты, некогда думать о человеке, как таковом, некогда памятовать о его настроениях, быте, питании, здоровье и пр. «После плакать», вообще все «после», когда завершится разрушение старого мира. Вот тогда вдруг, неизвестно почему и откуда, появится новое сознание, сложатся новые отношения между людьми, вырастет интерес к духовному строю человека, к его интимному миру, к его запросам и потребностям. Жизнь доказала глубокую ошибочность и этой утопии, и всю надуманность и кабинетную высиженность наших представлений о том, что будет на другой день после социальной революции. Вот так и в эмиграции. Если вообще нехорошо быть человеку одному, то в ссылке или в изгнании тем паче. Потому-то, быть может, именно здесь так легко загораются и гаснут увлечения, завязываются и расторгаются связи. В нашем кругу было много фамиллярности, амикошонства, формального товарищества. Вроде того «ты», которое силой насаждали якобинцы во Франции. А между тем, у нас как раз «ты» и было «пустым», вразрез с Пушкиным! Это не значит, что на нелегальной работе или в эмиграции не создавалось прочной дружбы или глубокой личной привязанности. Совсем нет! Я, например, не могу пожаловаться на недостаток внимания к моей скромной особе даже со стороны незнакомых мне лиц (Р. М. Плехановой в дни моей тяжелой болезни за границей и др.). Но это несколько не колеблет сказанное выше. Мы очень мало знали друг друга и друг о друге. Психологи мы были некудышные. Плохое знание

человека — явление гораздо более опасное, чем вечный наш перерасход энергии, чем преждевременная коррозия и устарелость живого инвентаря. Этой духовной слепотой поражена была не только молодежь, ею страдали и старики. Этим, отчасти, можно объяснить, почему наша среда кишмя кишела провокаторами, которые легко втирались в дружбу к самым опытным мастерам революционного цеха и, выражаясь непочтительно, водили за нос матерых конспираторов высшей марки. Достаточно напомнить имена и дела Татарова, Азефа, Жученко, Серебряковой, Малиновского, Батушанского, О. Блюма, Коновалова, Романова и сотен других агентов политической полиции разных калибров.

Да, наш круг — особенное явление. Здесь было все свое: нравы, язык, вкусы, привычки, манеры, требования. Я еще вернусь в дальнейшем к этому своеобразному феномену. Герцен писал когда-то: «Революция развила свой пуританизм, узкий, лишенный всякой терпимости, свои обязательные обороты. Люди веры, они ненавидят анализ и сомнения; люди заговоров, они все делают сообща и из всего делают интерес партии. Независимый ум им ненавистен, как мятежник; они даже в прошедшем не любят самобытности... На этом основано... их пристрастие к приравниванию, к единству военного строя, к централизации, т. е. к деспотизму». И под властью и обаянием этого деспотизма я добровольно и добросовестно отбыл — *horribile dictu!* (страшно сказать) — много, много лет, тая про себя и гоня прочь набегавшие сомнения, укрощая бунт независимого ума, гордясь тем, что я неотделимая частица коллектива, отказываясь от своей самобытности, нетерпимый, как сектант и фанатик, готовый на всякие жертвы во имя юса большого и юса малого.

1939 г. Осень.

II. О врагах и враждующих между собой близких родственниках

«И напрасно мечтатель роется в золе, в своих старых мечтаниях, ища в этой золе хоть какой-нибудь искорки, чтобы раздуть ее, возобновленным огнем пригреть похолодевшее сердце и воскресить в нем все, что было прежде так мило, что трогало душу, что кипятило кровь, что вызывало слезы из глаз и так роскошно обманывало».

А может быть, не напрасно? Быть может, на этот раз Достоевский неправ? Во всяком случае «обманывало»-то «роскошно», и по одному этому стоит рискнуть на поиски в золе.

* * *

В те дни за границу стекалось великое множество русских беженцев из разных родных палестин: от Чиатур до Петербурга и от Шауляй до Владивостока. На улицах европейских городов замелькали российские кондовые фигуры, овеянные дымом отечества, с манерами, по которым за версту узнают русских. Зазвучали все языки, наречия и говоры многоплеменной страны. Да и как не узнать сразу? Кто еще ходит толпой по мостовым, загромождает тротуары, наступает, без извинения, на ноги прохожим? Кто еще галдят все разом, перебивая и не слушая друг друга? Ну, ясно — русские!

О, мои соотечественники! Я ведь без всякой злобы подшучиваю над вами, смеясь одновременно и над собой. В противовес Гумилеву, я говорю: да, я знаю, я вполне вам пара, я пришел из той же страны. И говорю я о забавном, просто чтобы не плакать. Да к тому же, «без смешного и не бывает в жизни», учил Достоевский. Но круг моих наблюдений не широк.

Почти всецело поле моего зрения занято меньшевиками, что делает картину скучной и одноцветной. Что поделаешь? Я был молод, глуп. Теперь я стар, не скажу, чтобы я сильно поумнел, но подход к людям, но взгляд на жизнь в корне изменились.

И тогда я смутно ощущал правду слов Байрона («Дон Жуан»): «Человек — это феномен неведомый и изумительный, выше всех мер изумления». Но тут же вступала в силу плоская и ограниченная мера вещей: человек-то начинал казаться изумительным лишь тогда, когда и если его симпатии и вкусы, в первую очередь общественно-политические взгляды, вполне совпадали с моими. Вряд ли мы знали, видели и ценили человека как некий многозначимый, многоплановый и сложный мир, как полифоническое единство. Замечались, запоминались, интересовали отдельные черточки его так наз. идеологии, разрозненные ноты его духовной партитуры. Больше того: отсутствовала живая, не головная, не книжно-идейная, а инстинктивная, непосредственная любовь к реальному, вещественному, предметному человеку. Как это сказал Иван Карамазов? «Мне всегда казалось, что именно ближнего-то и нельзя любить, разве что дальнего».

1.

В Женеве я застал целый выводок анархистов, *gauche avis* [редкая птица] внутри России и во всяком случае не встречавшаяся до сих пор на моем пути. Кажется, они так и жили все в одной квартире и неразлучно проводили вместе все время, действуя скопом, как и полагается анархистам-коммунистам. Мал золотник, да дорог. Во всяком случае, этот квинтет или секстет был шумлив, как джаз-банд, и задорен, как стая воробьев. Среди них резко выделялись яркие, колоритные фигуры кавказцев: Церетели, Гогели и европейски знаменитый скандалист Канчели, человек исторический в ноздревском смысле слова.

По своей наивности я раньше полагал, что грузинская среда не знает иных партий, кроме социал-демократов и федералистов. Оказалось, водятся в ней и другие. Гогели и Церетели, бывшие с.-д., очень часто выступали на собраниях, говорили темпераментно, длинно, сильно, будучи, несомненно, первоклассными ораторами и образованными людьми. Маленький, юркий, ядовитый остряк Николай Романов отделялся больше шуточками и замечаниями с места. Бывают же такие роковые совпадения имен и фамилий! Рассказывали, будто он получил лишний год ссылки за то, что расписался на какой-то бумажке охранки: «Прочел с удовольствием. Николай Романов».

Канчели никогда не выступал с речами. Но все его побаивались, так как считали, что он готов ежеминутно аргументировать стулом. А вот Юлий Осипович Мартов, близко познакомившийся с Канчели во вторую свою эмиграцию (1907—1912 гг.), уверял, что Канчели — скромнейший и милейший человек. Жил тогда в Женеве старый нечаевец, анархист, князь Варлаам Черкезов, пламенный ненавистник социал-демократов и персонально Маркса и Энгельса. В ряде книг он неумоимо уличал их в плагиатах, вел по этому поводу свирепую и длительную, как Столетняя война, полемику с Каутским и т. д. Седая шевелюра, горящие глаза фанатика, орлиный нос, гортанный, как клекот птицы, голос, пыл неугасимой и нетронутой веры. Занятный был старик! Многое повидал он на своем веку и немало интересного мог порассказать. Не все в его памфлетах так превратно и уголовно наказуемо, как казалось нам в дни юности. Неосторожный тезис о плагиате наложил табу на работу Ч-ва. Но только узколобие способно утверждать, что будто бы в них нет материала для изучения генезиса марксистских идей. Мы ведь слепо верили, что наши пророки самопроизвольно родились из ничего или вышли, наподобие Венеры, в готовом, законченном виде из пены морской. А в сущности тот, кто даст себе труд спокойно и внимательно сравнить «Манифест Коммунистической партии» с манифестом Консидерана, должен будет признать справедливость многих замечаний Черкезова.

Много лет спустя после женевских битв я случайно попал на какой-то литературный турнир. Фигура оратора, нервного, почти истеричного, пока-

залась мне знакомой. Я спросил у соседа: «Кто это?». И, о ужас! Да это старый женевец, пылкий Marxisten-Fresser [пожиратель марксистов], анархист Иуда Гроссманн-Рошин. Вспомнились залы кафе на Plain Palais и пр., где он с такой страстью, с такими воплями кликуши, с такой злостью громил государственников-марксистов и социал-демократию. А сейчас, став после октября 1917 г. коммунистом и специалистом по так наз. марксистскому литературо- и искусствоведению, он с тем же эмфазмом [выразительностью] обличал рапповцев, переверзевцев, напостовцев и прочих еретиков — их имена ты, Лета, веси! — обвиняя их в уклонах и отступлении от генеральной линии партийного правоверия.

* * *

Когда-то Маркс писал о Бакуине: «Его программа — надерганная отовсюду мешанина... Детские сказки... Чепуха, составленная из кусочков, заимствованных у Прудона, Сен-Симона и т. д. ... В теоретическом отношении он нуль» (письмо к Больте, 1871 г.). К этому резкому, но не вполне справедливому отзыву можно было бы добавить, что с практической точки зрения Бакунин — отрицательная величина. Текли десятилетия, выходили на сцену новые поколения, вставали новые задачи, анархизм же не сделал ни шага вперед ни в каком отношении. Он топтался на месте. Он пользовался на Западе успехом лишь в романских странах. Нельзя объяснить это явление «сознательностью» рабочих других стран, тем, что будто бы немецкий средний рабочий был политически развитее французского. Как раз наоборот!

Анархисты специализировались на беспощадной критике социал-демократии, ее оппортунистических тенденций, ее парламентаризма, ее культа законности и отказа от внепарламентских форм борьбы и т. д. Правда, и тут они беспомощно вертелись в заколдованном кругу, перепевая на все лады доводы Бакуина, Кропоткина и столь популярных у них старых анархистских статей Аксельрода в «Общине». Но долгие годы мирного процветания социализма (он имел ведь тоже свое prosperity [процветание]) доказали, что далеко не все ложь даже в преувеличениях анархизма. Жизнь, особенно наша российская горькая доля, показала, как много правды в их критике государства, этого Левиафана Гоббса, с его всеокрушающей, всеподстригающей и всепоглощающей мощью централизованного бюрократического аппарата, с его неизбежной стандартизацией мышления, чувств, желаний, поступков.

Скажут: «Это не ново!». Да, но тогда мы упираемся в печальную, мертвящую истину Екклезиаста: «Бывает нечто, о чем говорят — смотри, вот это новое. Но оно уже было в веках, бывших до нас». Порочный, безвыходный итог! Что, в самом деле, ново на Земле? Можно понять, почему в 1904 г. мы с такой нетерпимостью относились к нападкам анархистов на с. д.-тию, особенно германскую, почему их страстные выпады встречали en bloc [в целом] не менее страстный отпор с нашей стороны. Дело не в нашей молодости. Помню, как грубая выходка Гогели по адресу покойного В. Либкнехта повлекла за собой драку; как председатель собрания Ф. И. Дан (Гуревич), столь всегда выдержанный, спокойный человек, забыв свои функции, неистово колотил чем-то по столу и кричал так же истошно, как и все мы. Владелец Handwerk'a [название кафе] с перепугу выключил свет, и только случай предотвратил катастрофу. Анархисты, в свою очередь, орали, стучали стульями. Романов и К^о свистели в сирены, а Канчели, подобно юным братьям в «Потопе» Сенкевича, спрашивал у Черкезова: «Отец, бить?». Со стороны казалось, что их очень много, в то время как их была лишь кучка, включая 2—3 томно эпилептических девиц с прическами à la Клео-де-Мерод. Анархистов, наконец, выкинули из зала.

Дело не только в бесплодности анархистской критики при отсутствии серьезной, положительной программы действий. Нельзя же считать налеты на винные лавки, экспроприации у мелких лавочников и даже экономический террор делом. А ведь только этим и занимались анархисты в России. В 1904 г. мы все свои надежды, все свои упования возлагали на массовое

действие, на борьбу пролетариата во главе всех обездоленных. Но классовая борьба, учили нас старшие, может увенчаться успехом лишь в том случае, если класс является организованной, сознательной силой, если им руководит партия. Германская с.-д. казалась всем идеальным типом, образцовой моделью такой партии; у ней учились, ей подражали все страны. Голая дискредитация 2-го Интернационала анархистами в случае ее успеха лишь разлагала бы рабочее и социалистическое движение, ничем не возмещающая потери и убытки. Это представлялось нам покушением с негодными средствами и вызывало бурное негодование.

Что касается ошибок и промахов европейского социализма, о чем избегали тогда говорить громко (ругать разрешалось лишь бернштейнщанцев и прочих извергов), то мы твердо верили в свою, русскую непогрешимость и были вполне убеждены, что вся с.-д.-тия, «когда потребует поэта к священной жертве Аполлона», стряхнет с себя «заботы суетного света» и поведет массы в последний и решительный бой. Вот почему, стоя в зале Handwerk'a и слушая оппонентов на докладе Г. В. Плеханова, я готов был драться до крови за двуперстие, как суриковская боярыня Морозова. Я еще не предвидел, да и никто не предвидел, грядущих событий, в частности того, во что может вылиться с.-д. движение, когда партия станет у власти, осуществив так наз. диктатуру пролетариата. Никто не думал и о том, что, когда начнется критический пересмотр легенд о германской с.-д.-тии, аргументация ее ультралевых противников будет, как две капли воды, тождественна с анархистской. *Habent sua fata* [имеют свою судьбу] идейные расхождения!

2.

Встретил я как-то на улице знакомых мне по Красноярску Надежду Осиповну Коган-Бернштейн с сыном Митей. Обрадовался я, разлетелся к ним, но они обошлись со мной так холодно и сухо, что никакой охоты к дальнейшему общению у меня возникнуть не могло. Это было показательно! Н. О. Коган-Бернштейн, жена казненного в 1889 г. народовольца Л. М. Когана-Бернштейна, до конца дней оставалась в обаянии и власти тех настроений и идей, которые ее муж принес к своему эшафоту. В преклонении перед подвигом отца и его революционной страстью растила она сына, одно время посещавшего мой кружок учащейся молодежи в Красноярске. Народовольческая закваска была в нем так сильна, что достаточно было нескольких месяцев пребывания в кругу с.-р. эмиграции, чтобы вытравить все следы марксистской инфекции, если я даже и успел перенести ее на Митю. Но и не только это политическое разномыслие положило непреходящую пропасть между нами. Отношения между нами и с.-р. за границей обострились до крайности, поскольку об этом позволяли судить печатный обмен любезностями и порой непечатные скандалы на собраниях. Потому что иного общения у нас с ними не было. Атмосфера была отравлена той бестактной и неслыханно грубой (неслыханной даже и для российских литераторов!) полемикой с с.-р., которую вела в 1902—1903 (и в позднейших) годах «Искра».

Я могу только с поздним и бесполезным раскаянием пожалеть об этом отчуждении. Оно не позволило мне познакомиться и сблизиться со старым поколением, обломками активного народолюбия. Это была сплошная живая хронология, летопись русского революционного движения 70—80-х годов. В Женеве жили или временно находились О. Минор, М. Р. Гоц, Л. Шишко, Е. К. Брешковская, Волховский, Е. Е. Серебряков, М. Натансон; в Париже — Рубанович, Н. Е. Кудрин-Русанов и др. Это были друзья и единомышленники тех последних могилок народолюбивой эпохи, с которыми я встретился и подружился в Сибири. И вот путь к братьям по духу и судьбе был для меня закрыт, потому что, повторяю, вражда, извечно разделявшая марксистов и народников, доведена была до предельного накала безмерно грубыми статьями «Искры», особенно по поводу Балмашова.

Резкость и чрезмерную заостренность полемики отнюдь нельзя

объяснить только дурным литературным вкусом сотрудников (и читателей) «Искры» и «Революционной России». Важнее другое. Реставрация в чистом виде народофильской идеологии и политической линии в начале XX в., в эпоху развернутого массового движения на Западе и в России, была бы бесплодной, мертвой утопией. Только В. Л. Бурцев мог, как дятел, долбить: цареубийство, цареубийство! Понадобились поправки, дополнения, прирезки, и в итоге склеили широкую, на все вкусы, неопределенно смутную программу. В этом своеобразном идеологическом Мюр-Мерилизе [название универсального магазина] было все: террор и социализация земли, референдум и всеобщая стачка, демократическая революция («а не буржуазная, как у вас!») и уравнилельное землепользование. Все неуловимо широко и многообразно.

Размежевка с с.-р. была крайне трудна. Мы являлись соперниками в деле влияния на очень важную тогда революционную силу, на так наз. разночинную интеллигенцию. И большой вопрос, кто ей больше был по сердцу: мы или они! За с.-р. стояла могучая традиция, пустившая глубокие корни, ведшая еще к Герцену (а, может быть, и дальше), связанная с делами и мыслями наших предшественников, борцов 60—80-х годов. И хотя, казалось нам, русский марксизм вышел с честью из тяжбы с эпигонами народничества, изжить настроения, неизбежно порождаемые социально-политической обстановкой аграрной страны, было весьма и весьма сложно. Надо было ожидать, что настроения эти станут оживать по мере пробуждения к политической жизни и борьбе крестьянства. Так это и случилось. Насколько прочно въелось с.-р.-ство в русскую почву, показал 1917 г. и особенно последующие десятилетия самоновейшей русской истории, когда пригодились и демократическая («а не буржуазная») революция, и социализация земли, и союз пролетариата и крестьянства, и многие другие понятия, казавшиеся, в мое время, жупелами, которыми пугали социал-демократических ребят.

Забегая несколько вперед, отмечу, что серьезные трудности ожидали нас на практике и на работе в пролетарской среде хотя бы уже потому, что громадные слои рабочего класса были еще прочно связаны с деревней, и крестьянская их психология давала себя знать на каждом шагу.

* * *

Пророком, главой, записным оратором, первой скрипкой (чуть не сказал: первым любовником и лирическим тенором!) считался и держался В. М. Чернов. Моя глубочайшая антипатия к этому человеку, свято и свежо хранимая и ныне, датируется теми днями. Он был частым гостем на разных жевевских собраниях; но кто, кроме ослепленных с.-р., мог, послушав его однажды, захотеть добровольно повторить это удовольствие. 1914—1917 гг. сокрушили десятки репутаций. Кого только не развенчали суровые испытания военных и революционных лет. Но на конкурсе разбитых кумиров и свергнутых божков В. М. Чернов мог бы смело претендовать на одну из высших наград.

Искровские статьи против с.-р. не кажутся мне, да и тогда не всегда казались, верхом остроумия и находчивости. Но вот вспомнишь манерничанье и ужимки Чернова в его писаниях, всплывет в памяти его фигура на трибуне, представишь себе этот стиль былинного «ой, ты, гой еси, добрый молодец», слезы в голосе и пр., и начинает казаться, что «Искра»-то была отчасти права в своем грубо реалистическом письме. Однажды и я не вытерпел. В 1904 г. в Якутске разыгралась известная романовская драма. Мне сдается и поныне, что часть колонии — с.-р.-ы — вела себя в этом случае весьма неблагоприятно. Мало того, что она саботировала протест, помешав ему стать общим и дружным выступлением всей ссылки. В «Р. Р.» [«Революционная Россия»] стали появляться корреспонденции из Сибири и заметки редакции, сугубо бестактные, потому что в них явно отмежевывались от романовцев, явно осуждали их, и это в тот момент, когда им грозил военный суд и они сидели в тюрьме.

Я вскипел и написал для «Искры» статейку за подписью «Бывший

ссылный», где, сделав ряд замечаний и поправок фактического порядка, дал в конце волю своему негодованию. Плеханов одобрил мое издание и поместил его в «Искре». «Р. Р.» немедленно откликнулась и, как все, пойманные на месте преступления, откликнулась в лицемерно незлобивом и елейно ханжеском тоне. Он-то и придавал нестерпимый аромат литературным упражнениям В. М. Чернова и consortes [сопричастных]. Разумеется, в 1904 г. я ни за что не согласился бы причислить с.-р. хотя бы к отдаленным нашим родственникам, и никакие генеалогические изыскания, как бы ни были они достоверны, не смогли бы убедить нас в нашей единокровности. Понадобились десятилетия практического тяжелого опыта, чтобы эта истина стала самоочевидной.

3.

Не без опаски берусь за заметки о «братьях», пусть, по слову Плеханова, враждующих между собой, но, без всякого сомнения, родных братьях. Так казалось в 1903, 1904 годах. Тридцать лет назад никто не решился бы доказывать, что меньшевики и большевики — всего лишь однофамильцы. Братья могут быть и бывают большими друзьями. Но нет других таких злейших врагов, как поссорившиеся всерьез братья (или бывшие друзья). Никто так не предает и не выдает своих, как свои же близкие. Но десятилетия легли между моими вчера и сегодня! Нет личного раздражения, обычно сопутствующего у русских. Идеино-политические разноречия? Можно как будто подойти к прошлому спокойно, хотя так и не сошлись наши пути!

* * *

Женевская ленинская гвардия ныне в своем подавляющем большинстве уже сошла с исторической сцены. Значительная часть ее, начиная с ее создателя, бессменного вождя и вдохновителя В. И. Ленина, спит вечным сном. Остальные коротают свои дни в т. н. Обществе старых большевиков или Обществе политкаторжан¹, где их число тает изо дня в день.

На II съезде и непосредственно после раскола вокруг Ленина оседает группа, включающая некоторых из его соратников по петербургскому «Союзу борьбы» (Г. М. Кржижановский, Ф. В. Ленгник) и из искровцев-практиков, например П. Н. Лепешинский, Н. Э. Бауман, М. М. Валлах-Литвинов, чье имя ныне известно всему миру; М. Н. Лядов, придворный историограф партии, один из старейших и глупейших ее членов; О. Тарсис-Пятницкий, впоследствии один из виднейших деятелей Коминтерна²; супруги В. М. и В. Д. Донч-Бруевич; В. А. Носков (Глебов), едва ли, наравне с И. И. Радченко, не крупнейший представитель искровства в его классическом стиле, член ЦК по выборам на II съезде (покончил с собой в 1913 г.); Б. М. Кнунянц-Рубен (умер в Бакинской тюрьме в 1911 г.), активный участник бакинского с.-д. движения и Петербургского Совета рабочих депутатов 1905 г., и некоторые другие.

Ни Каменева, ни Зиновьева тогда на с.-д. горизонте совсем еще не наблюдалось. Сталина не знали за пределами Кавказа до конца 1905 г., когда он впервые появился на общерусском с.-д. небосклоне (а одно из первых мест в рядах большевистских руководителей он занимает не ранее 1911—1912 гг.). Указанные выше лица (преимущественно покойники) могут почитаться пионерами, зачинателями нынешней компартии. Но не все они, конечно, внесли по равному паю в большевистский начальный организационный капитал. Были и другие, позже примкнувшие, имена коих впоследствии приобрели всероссийскую, а порой и мировую известность.

* * *

Первоначальную принципиальную литературно-теоретическую борьбу Ленин вынес один на своих плечах. Политические и идейные основы большевизма продуманы, разработаны и обоснованы именно Лениным, а вклады остальных публицистов и теоретиков фракции так малы, что их без

большой ошибки можно скинуть со счетов. И компартия (не только русская) вправе применить здесь парафразу слов, сказанных о Лассале: «У подножья Кремля покоится тот, кто сковал нам мечи». Разумеется, к Ленину эта метафора применима, пожалуй, с большим основанием, чем бреславльская эпитафия к Лассалю.

Ни для кого не тайна это исключительное значение Ленина для его партии. Тут он монополист, безраздельный, всевластный, общепризнанный. Даже наиболее талантливые литераторы фракции (и компартии) либо популяризируют ленинские мотивы, либо, в лучшем случае, под его указку, как способные ученики, разрабатывают частности, детали доктрины или тактики. 32 тома сочинений и писем Ленина плюс несколько десятков томов «Сборников», где с такой тщательностью и пиететом собраны все строки учителя, все его черновые, так сказать, лабораторные наброски, заметки, конспекты, случайные записи и т. п. — это подлинная многотомная Большая энциклопедия большевизма (*La Grande Encyclopédie de bolchévisme*), откуда вот уже два десятка лет черпают свою премудрость лауреаты, академики, профессора, доценты, журналисты, беллетристы, даже поэтессы, не говоря уже о партсекретарях всех степеней и рангов. Ибо нет Бога кроме Бога. Для сторонников — по убеждению или по долгу службы — собранное вместе литературное наследие Ленина является именно тем, чем была великая Французская энциклопедия Дидро и д'Аламбера для европейской интеллигенции второй половины XVIII века.

Подобное отношение может показаться со стороны противоестественным, деланным, неискренним. Да так это и есть в тех случаях, когда цитатами из Ленина пользуются лишь как путевкой в жизнь, средством для личной карьеры, что бывает теперь очень нередко. Но для тех, кто искренно стоит на почве данного мирозерцания, кто не выходит за пределы данного мироучения, для тех нет ничего непонятного и удивительного в этом культе пророка и его учения. Ленин всегда сам претендовал на миссию создателя особого ордена, со своим особым *credo* [верую], особым ритуалом и т. д. Его последователи так себя и ощущают членами единой, ортодоксальной, католической церкви, только называется она компартией. Я лично не знаю другого примера такого сочетания идейного и персонального влияния, как в случае с Лениным. Огромно влияние Маркса, недаром он источник новой религии — марксизма. Но непосредственная сфера его личного воздействия была ограничена во времени и пространстве.

Громадное значение Плеханова в истории русского марксизма и русской с.-д.-тии. Но роль его, но объем и сила его действия на общественное мнение несравнимы с ленинскими. То же и с Каутским, авторитет которого некогда был непререкаем и многовесом. Сейчас принято не только тритировать Каутского как «мертвую собаку» (в *pendant* [на пару] к обращению Мендельсона со Спинозой), но и отрицать самый факт его популярности. Но люди старого поколения прекрасно помнят, что в течение ряда десятилетий Каутский после смерти Энгельса был неоспоримым учителем и оракулом для всего международного социализма и особенно для российской его ветви. Нигде его так усердно не переводили (даже тогда, когда он стал «ренегатом Каутским»), как у нас; нигде его с таким благоговением не читали и не чтители, как в России, гораздо, несомненно больше, чем в самой Германии, не говоря уже о Франции или Англии. Мы ведь всегда готовы были расprostереться в прахе перед изделиями с маркой «*made in Europe*» [сделано в Европе] и уж тем паче «*made in Germany*» [сделано в Германии]. Это от вековечного, — вероятно, с татарских времен, — ощущения своей неполноценности, из давней, усиливавшейся из века в век, привычки к ученичеству.

И не только в области политической мысли. Один норвежский писатель узнав, что в России два издательства («Фиорды» и «Северные сборники») наперебой переводят и выпускают скандинавских романистов и новеллистов, заметил с удивлением: «Зачем стране, давшей миру Достоевского и Толстого, наши ученические работы?». Но «как можно-с!», говорит Видоплясов у Достоевского, «помилуйте, как можно-с! Аделаида — имя об-

лагороженное, иностранное-с!, Аграфена — неприличное», и с умилением предлагает барину галстук «аделаидина цвета». Да, неприлично было бы даже подумать, что наша Аграфена не только очень и очень постоит за себя, но и даст много очков вперед Аделаиде.

Был и марксизм аделаидина цвета. Плеханов давно уже начал борьбу с ним, «облагороженным-с», «иностранным-с» марксизмом, и сколько крови истратил он отечественным и европейским Видоплясовым в годы войны, с Бернштейном, К. Шмидтом и т. п. Можно по-разному относиться к делу жизни Ленина. Но и тот, кто далек от признания марксизма-ленинизма путеводной звездой и мироучением, кто ценит в нем лишь отдельные элементы, годные в качестве условной, рабочей гипотезы при изучении хода исторического развития и общественных отношений, и тот согласится, что никто не сделал столько для торжества так наз. революционного социализма (коммунизма), как В. И. Ленин.

К сожалению, как я уже сказал, мне не пришлось познакомиться с Лениным в Женеве. Если бы я не был с первых же часов пребывания здесь заражен фракционным зудом, случаев для встреч и бесед с Лениным представлялось немало. Я их прозевал, наказав этим самого себя, потому что в дальнейшем знакомство состоялось, но было весьма мимолетным, затем стало невозможным, особенно после Октября. Меньшевики и большевики неизбежно оказались на разных сторонах баррикад.

Мыслимо ли, однако, представить себе личные, более или менее близкие, не говоря уже о дружеских, отношения с Лениным, не будучи (а, возможно, и будучи!) его стопроцентным единомышленником, всецело покорным его воле? Были ли у этого человека друзья? Добрые знакомые? Приятели? Так просто, по-человечески, по-житейски, если хотите, по-обывательски, связанные с ним не высокими интересами большой политики и мировых проблем? Сомневаюсь. Мемуаристы явно и сознательно создавали из Ленина, его жизни и облика легенду подобно тому, как всегда ее творили в отношении всех крупных религиозных, политических и социальных реформаторов. Легендой окружено ныне даже детство Ленина, и это мифотворчество логически завершено мавзолеем, чего мир не видел со времен Египта. Вот почему мы никогда не узнаем правды о Ленине-человеке. Даже Крупская, его ближайший друг и, так сказать, материально самый тесно и интимно с ним связанный товарищ, не сумела, или — что вероятнее — не захотела и не смогла рассказать нам о Ленине просто, без мифологии иконописи. Нечего и говорить о том, что все прочие мемуаристы, русские и иностранные, вспоминают о Ленине противоестественным басом.

В описываемое время ленинская легенда еще только зарождалась. Молодые практики искровского этапа с.-д. партии хорошо знали это имя и те псевдонимы (Ильин, Тулин), которыми прикрыл себя от политической полиции В. И. Ульянов, чья фамилия и адрес значились на номерах зарубежной «Искры». Не всем удалось прочесть гектографированные «Друзья народа», но многие читали «Развитие капитализма» и пр., и вряд ли нашелся бы десяток лиц, незнакомых с «Что делать?» и статьями Ленина в «Искре». Он жил в Женеве крайне замкнуто; много, как всегда, работал, писал «Шаг вперед...», учил женевских единомышленников уму-разуму, руководил деятельностью своих друзей в России. Не думаю, чтобы доступ в круг Ленина был широко открыт. Во всяком случае, редкий из моих сверстников, столь же окостеневших во фракционном изуверстве, как я, переступал через порог клуба ленинцев.

Отчасти все же свое поведение я отношу на счет своей застенчивости и самолюбия. Как это я вдруг к нему заявлюсь? Безвестный юноша, какой-то ничем не проявивший себя Гродецкий, один из сотен. Помню: в юности я гостил в Петербурге у своего дяди А. И. Иванчина-Писарева, одного из редакторов журнала «Русское богатство». Еженедельно здесь собирались ближайшие сотрудники во главе с Н. К. Михайловским. Я встретился с рядом известных всей тогдашней интеллигентской России писателей, как В. Г. Короленко, П. Ф. Якубович-Мельшин,

С. Е. Елпатьевский, А. Г. Горнфельд, Н. Ф. Анненский, В. В. Лосевич и др. И все они приветливо обошлись со мной, охотно беседовали, расспрашивали о моих планах, чтении и т. д. А Михайловский за все встречи только и удосужился задать мне нелепый и пустой вопрос: «Ну, что, молодой человек, как Вам понравился Петербург?». Легко можно себе представить негодование и досаду 18-летнего юноши, втайне готовившегося к беседе и спору с Михайловским и вдруг получившего такой ледяной душ. Долго горела у меня обида на шефа легального народничества!..

Пожалуй, можно было и не ожидать такого же афронта от Ленина или Плеханова («А как, юноша, Вам показался Salève?»). Знакомство с Лениным состоялось лишь в 1906 г., на пути из Гааги в Стокгольм, на пароходе, везшем часть делегатов так наз. Объединительного съезда с.-д. партии.

4.

Ближайшим, если не первым по времени, помощником Ленина по литературной работе стал Михаил Степанович Александров-Ольминский (он же Галерка, Витимский и пр.). Читатели легального журнала «Образование» знали Ольминского по его длинно протяженным и сереньким статьям о Щедрина, к которому он питал особое пристрастие, что, впрочем, по революционному чину полагалось всем радикально мыслящим и просвещенным людям. Ольминский еще в «Крестах», отбывая срок тюремного заключения, начал работу над словарем Щедрина, первым опытом вообще такого словаря в русской литературе. Словарь этот вышел на свет Божий лишь при советской власти. Какова цена этому произведению, сказать не берусь, потому что не читал его.

К социал-демократии Ольминский пришел от народовольческого эпигонства начала 90-х годов XIX века. Отбыв крепость (в «Крестах») и якутскую ссылку, О. приехал в 1904 г. в Женеву и сразу примкнул к большевикам, получившим в его лице некоторую второстепенную, вспомогательную, но все же вполне грамотную литературную силу. Он был соредактором и деятельным сотрудником зарубежных «Вперед» и «Пролетария». Но кажется, что в особенности многим обязана ему большевистская легальная печать 1911—1914 гг. («Звезда», «Правда») как бойкому работоспособному журналисту, хотя и «плохому», по признанию самого Ленина, политику.

Не боги горшки обжигают! Надо прямо сказать, что в период 1907—1917 гг. социал-демократическую печать в России делали не боги, а рядовые, зачастую безымянные литераторы-партийцы. Вопреки современной легенде, удельный вес ленинского (а тем паче сталинского) вклада в материал, публиковавшийся в газетах тех лет, был незначителен по сравнению со вкладом того же Ольминского или К. С. Еремеева и прочих малоизвестных, а то и вовсе неизвестных публицистов (аналогична картина и у меньшевиков). (Примечание для недалеких критиков: я говорю о количественной стороне. Само собой понятно, что политическая значимость статей Ленина настолько велика, что никакого сопоставления здесь быть не может).

Ольминский дебютировал в Женеве памфлетом против меньшевиков за подписью Галерка; содержания и даже названия этого изделия я, простите, не помню. Но шум, поднятый им в Женеве, мне хорошо памятен. Старики негодовали. Как! — говорили они, — этот вчерашний народовец, никогда не живший исканиями и болями с.-д. партии, сегодня, после стольких лет оторванности от движения, берется судить и рядить о чужих делах, осмеливается поучать, да еще в столь неуважительном тоне, Плеханова, Аксельрода, Мартова! Вслед за старшими возмущались и мы: denn die Jungen pissen, wo die Alten pfeifen! [ибо юноши писают там, где старцы свистят].

Сомнительно, чтобы Ольминскому следовало так, с бухты-баракты, ввязываться в борьбу Алой и Белой роз. Вряд ли он слишком хорошо разбирался в существе разногласий и споров, если это существо и мотивы боевых схваток долго еще оставались неясными даже главарям фракций. Писал он с чужого голоса, видел лишь поверхностные, вторичные моменты и детали. Но забавно и высокомерие ересиархов нашей церкви! Выходило

так, что право на суждение и критику дано только природным, по рюриковой линии, наследственным пэрам с.-д.-тии. Мы, молодые, считали, что «царская и в нас струится кровь», применяя выражение поэта К. Р., и что только мы являемся правопреемниками стариков, будучи облечены некоей благодатью в порядке рукоположения. Как бы то ни было, имя Ольминского стало настолько одиозным в наших глазах, что, когда через несколько лет мы, бывшие женевцы, встретились с ним в Баку, густая тень давней неприязни продолжала мешать сближению, которого так и не произошло. Мне, кроме того, скучно было, когда он начинал говорить о литературных произведениях, о писателях тех дней, как Леонид Андреев, Арцыбашев, Сергеев-Ценский, не говоря уже о Блоке, Белом, Брюсове и др. Примитивизм его суждений, крайняя нечувствительность в восприятии художественных приемов, стиливых особенностей и нюансов при типично просветительском понимании роли и значения искусства и литературы — все это окончательно закрепило наше отчуждение.

Ольминский умер. Никто не знает, как оценил Великий Тойон лепту, принесенную им в мир. Но что мне трудно забыть, так это ту печальной памяти невиданную в радикальных кругах и в научной историографии позицию, которую Ольминский занял в 1925 г., выступая против чествования декабристского восстания на Сенатской площади. В данном случае он даже не мог бы хвастнуть à la гоголевский судья, что он «своим умом дошел». Потому что шел он именно по избитой, до него проложенной реакционерами, дорожке.

5.

«Вы слышали? — спросил как-то меня один из приятелей. — Богданов приехал». По Женеве пошли сказанья, явно апокрифические, будто бы Богданов посетил Г. В. Плеханова в целях совместного изыскания модуса мирного сожительства фракций, но Плеханов-де отклонил это честное маклерство, разойдясь с Богдановым в вопросе о «вещи в себе» (*Ding an sich*) и мире как «социально-организованном и социально-гармонизированном опыте». Примирение не состоялось. Косвенным подтверждением правильности этих слухов явилась брошюрка Богданова против меньшевиков за подписью «Рядовой» (сколько ехидства было в этом quasi-скромном псевдониме!). Памфлетный тон этого сочиненьица вызвал не менее сильное негодование, чем писания Галерки.

Очевидно, в связи с этим переходом Богданова и его друзей *avec ses armes et bagages* [со своим оружием и багажом] в лагерь ленинцев Л. И. Аксельрод-Ортодокс и опубликовала тогда в «Искре» большую статью, жестко критиковавшую философские взгляды Богданова. Этим первым выстрелом открыта была затяжная Столетняя война «воинствующего материализма» (*Materialismus militans*) с «замаскированным субъективным идеализмом», с махизмом и прочими нехорошими вероотступническими течениями. Глубоко штатский писатель, я не войду здесь в существо споров этих двух ратоборствующих церквей. В качестве же мемуариста считаю своим долгом засвидетельствовать, что боевая статья Ортодокс была встречена в 1904 г. с недоумением со стороны подавляющего большинства читателей, в том числе и единомышленников Л. И. Аксельрод. Опубликование статьи расценивали и толковали как скрытый политический удар («значит, действительно не договорились»).

Допустим, что виною этого является постыдное невежество 99% социал-демократов в области философии. Но факт остается фактом: тогдашние широкие партийные кадры не улавливали в книгах Богданова тех грехопадений и отступлений от канона, которые якобы были ясны изощренному, наметанному глазу Аксельрод-Ортодокс. Не улавливал их и Ленин. И не только не улавливал, но и почитал Богданова правоверным марксистом, и в такой мере, что даже предполагал, что Богданов — это псевдоним Плеханова³. Это лишь впоследствии, судя по переписке, Ленин стал сомневаться в правоверии Богданова. Эти сомнения росли и крепились, превратившись в дальнейшем в твердое убеждение, плодом коего стала работа

Ленина «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии». Но в 1904 г. Богданов и его группа были слишком ценными сотрудниками в борьбе против опасности меньшевизма, и можно было закрыть глаза на некоторые промахи богдановской незрелой философской мысли.

* * *

Легко представить теперь смущение, внесенное статьей Ортодокс! Богданов — сотрудник уважаемых марксистских журналов, Богданов — всем известный автор книги по политической экономии, которую еще недавно печатно расхвалил Ленин... И вдруг такой пассаж! Насколько плохо разбиралась публика (и я в том числе) в этих сложных вопросах, явствует из того, что ничье недреманное око не обратило внимания на большую отдаленность от материализма одного сборника, где и заглавие многозначительно: «Очерки реалистического мирозерцания». Оно — это заглавие — не уловка в целях введения в заблуждение цензуры, это принципиальное заглавие. Группа социал-демократов не-материалистов выступала со своим коллективным манифестом в виде *in octavo* [форматом в одну восьмую].

И вот никто не объявил тогда авторов сборника высланными за пределы марксизма и с.-д.-тии, никто не заявил, что исповедание неопозитивизма несовместимо с пребыванием в рядах РСДРП. Очевидно, опасность такого философского умонаклонения (разных «измов») сочли нужным заметить только тогда, когда определилось политическое лицо группы, возглавленной Богдановым. В первый раз это «заметила» в 1904 г. Ортодокс, когда Б-в примкнул к большевикам, второй раз — Ленин в 1908—1909 гг., когда Богданов разрывал с большевиками.

А ведь особый, богдановский душок был явственен внимательному, вдумчивому читателю уже при чтении одной из ранних работ Б-ва (упомянутого выше «Исторического взгляда на природу»). Больше того, в первой же, получившей широкое распространение, книге Б-ва, в «Кратком курсе экономической науки», перед нами исследователь, очень сомнительный в отношении чистоты и выдержанности ортодоксии. На природу-то он рекомендует смотреть исторически, а вот у стоимости, по его определению, как раз общественно-исторического характера и нет. Она — «количество трудовой энергии, необходимое для производства определенного продукта». Верно это или нет, но это физиологическое определение, натуралистическая, а не общественно-экономическая точка зрения. Такой же вид имело и учение об абстрактном труде и мн. др. И все же, повторяю, «Курс» удостоился самой высокой оценки в рецензии Ленина.

Не будучи в состоянии самостоятельно разобраться в вопросе, партийное мнение разбилось по фракциям: веровавшие в так наз. новую «Искру» и в Ортодокс отринули Богданова и его ересь; поскольку же он вошел в большевистскую фракцию, она взяла его под особое покровительство. Появись статья Ортодокс до раскола, все искровство осудило бы единогласно «богдановщину». Когда «года минули, страсти улеглись» (по крайней мере, у меня), к гробу Малиновского-Богданова в 1928 г. пришли не только ближайшие друзья и единомышленники, но и вчерашние антагонисты, идейные враги. Пришли не по долгу службы и не во имя соблюдения декорума (как, например, на похоронах В. Н. Фигнер), но в знак искреннего уважения к большой, преждевременно погасшей интеллектуальной силе. Вместе с тем это прощание с прошлым явилось последней манифестацией подобного «объективистского», «некритического» чествования мыслителя, отщепенца и еретика, не считавшегося ни с какими авторитетами.

* * *

Я не обмолвился, сказав о богдановской группе. Таковая, несомненно, существовала. Богданов принадлежал к тому поколению или кругу марксистов и с.-д.-тов, преимущественно москвичей, которые вышли на полити-

ческую или литературную арену примерно во второй половине 90-х годов. По возрасту это наши старшие братья. В этом кружке (в составе которого значились, например, И. И. Скворцов-Степанов, В. А. Руднев-Базаров, В. Л. Шанцер, В. Г. Громан, В. М. Шулятиков, В. М. Фриче, Б. В. Авиллов, С. А. Суворов и др.), в этом пестром соцветии Богданову принадлежало по праву если не первое, то во всяком случае одно из первых мест. Широко, всесторонне образованный человек, естествоиспытатель и врач, он обладал даром самостоятельной творческой мысли. Новые люди знают его лишь по кривому зеркалу, по карикатурам Плеханова и Ленина. А между тем, говоря по совести, он оставил заметный след на всех дисциплинах, в области которых он работал. Взять хотя бы его «Краткий курс экономической науки», составившийся из лекций, читанных им в нелегальных кружках тульским рабочим. Сколько изданий выдержала эта работа, ставшая настольной книгой у интеллигентской молодежи 90-х — 900-х гг., интересовавшейся хитрой механикой социально-экономических отношений.

Б-в был чуть ли не единственным в России марксистом, попытавшимся подвести под марксизм иную философскую базу, чем та, на которой покоится казенная, официальная доктрина. Такой целостной, всеобъемлющей, связной философской и историко-социологической интерпретации так наз. революционного, научного социализма без материалистического фундамента европейская социалистическая мысль тогда еще не знала. Я готов признать, что попытка кончилась крахом и что Б-в развелся с марксизмом. Это в моих глазах еще не преступление. Я ценю его поиски цельного мирозерцания, его отказ от трафаретных путей, рожденный возникшим у него сомнением в истинах философского материализма Маркса — Энгельса и их русского последователя Г. В. Плеханова.

6.

Одним из виднейших членов этой группы и, в скобках, горячим поклонником Богданова являлся А. В. Луначарский (партийный псевдоним тех лет — Воинов). Кстати, он был женат на сестре Б-ва и подписывал свои стихотворные шалости нежным прозвищем «Анютин». Луначарский сам печатно выразил в одной из рецензий свой восторг, я сказал бы, преклонение перед Богдановым и в столь преувеличенно почтительных выражениях, что и Гете с Лейбницем лестно было бы. Луначарский, вне сомнения, весьма поверхностный, но и очень одаренный человек. Внешние его данные богаче богдановских: он превосходный оратор, хороший стилист, прекрасный *causeur* [собеседник], тогда как Б-в писал и говорил темно, вяло, с натугой, словно переводил по подстрочнику с голландского. Луначарский — находчивый, остроумный полемист, умевший находить слабые стороны противника. Споры Богданова с Плехановым показали, что таких качеств у первого не было: будучи прав по существу, он все же проигрывал турниры как раз в силу своего тяжелого веса, своей неуклюжести и ненаходчивости.

Если не ошибаюсь, уже в начале 900-х годов Луначарский пользовался некоторой популярностью в среде социалистической интеллигенции как литературный критик и публицист. Статьи его в «Образовании», в сборниках и пр. (против Бердяева, «Проблемы идеализма» и т. п.) свидетельствовали во всяком случае о бойкости пера и литературном даровании автора. Кто захотел бы судить о Луначарском по его послереволюционным работам, тот вряд ли согласится с мнением о его талантливости. Но это не так. Почти все его писания последних лет — халтура, т. е. все они сделаны наспех, небрежно, на ходу, посреди десятка других занятий. Таковы, например, его большие статьи в БСЭ на литературные и очень ответственные темы: о Достоевском, о Горьком и пр. Это всего лишь фельетоны, растянутые, пухло водянистые, типа *Festreden* [праздничные речи] на юбилеях, при встречах на вокзале или на приемах в ВОКС'е. В них нет ни серьезного анализа, ни философско-критического освещения, ни формально стилистической оценки. Второсортная публицистика в духе худших традиций 60-х годов. Но начинал Луначарский свою карьеру значительно ярче и содержательнее.

Псевдоним Воинов он выбрал удачно. Богданов уехал в Россию, Луначарский остался за границей и бросился в прю с меньшевиками, летая по колониям с рефератами. Его появление значительно усилило фракцию и несколько разгрузило Ленина. В спорах и в полемических статьях пригодились уменье Луначарского живо и выпукло излагать даже и сложные вопросы. Что политически он был только рупором Ленина, это было как раз кстати, и было полезно. Что в отношении мировоззрения он прямой *porte-parole* [популяризатор] Богданова, это никого смущать не могло: раз в его учителя еще не видели отпетого врага, то кто почел бы за *casus belli* [повод к войне] срывы ученика?

А они были! Луначарский принадлежал к числу очень чутких, очень умственно живых, подвижных людей; именно косности, сухости, инертности и не переваривал его интеллект. Но, к несчастью, имелось и другое: чрезмерная восприимчивость, податливость всем новым влияниям и настроениям. Некрасов когда-то характеризовал такой тип мышления в известных строках: «Что ему книга последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет». В отношении к Луначарскому это несколько резковато, но близко к истине. Авенариус, Маркс, Мах, Гегель, итальянско-французские теоретики синдикализма (Артур Лабриола и Ж. Сорель), Богданов, Б. Кроче, Гольцапфель, не говоря уже о классиках философии и художественной литературы и искусствознания, — десятки больших и совсем небольших писателей и мыслителей хоть частично, но влияли на него, держа вплоть до почти последних дней в состоянии брожения и неустойчивого равновесия. Мне думается, что это и составляет наиболее привлекательную и ценную черту в Луначарском: он долго не переходил в многочисленный разряд духовно сытых людей. Им он сделался потом, и сразу потерял «лица вообще выраженье».

На примере Луначарского легко проверить один бесспорный железный закон: каждая попытка самостоятельного мышления (в любой области) — а когда-то это свойство высоко ценилось в интеллигентских кругах! — каждая такая попытка вела к разрыву с Лениным всякого смельчака, рискнувшего на такой опрометчивый шаг. Так было с Богдановым. Так было с Шанцером-Маратом. То же случилось и с Луначарским, этим «блаженным Анатолием», по ядовитой шутке Плеханова, погрязшим в дебрях синдикализма, богоискательства, эстетизма и разного философского лжеумудрия. Вплоть до 1917 г. он находился не только в эмиграции в буквальном смысле слова, но и, если так можно выразиться, в идейной эмиграции из большевизма! Он вернулся в отчий дом, как это сделали и другие (вроде М. Н. Покровского), и занимал высокие посты, и выполнял ответственные поручения партии, и стал ортодоксом, никогда, если верить его печатному слову, не порывавшим с ленинским правоверием. Но верить ему нельзя; особенно не поверит ему тот, кто знает его прошлое, его деятельность в течение десятилетий.

Мне пришлось в течение почти двух лет часто встречаться с ним в те годы, когда он был редактором отдела литературы, искусства и языка БСЭ, а я состоял его помощником. Могу засвидетельствовать, что в качестве редактора Луначарский отличался чрезвычайной деликатностью, терпимостью, уважением к чужому мнению. Широта его интересов, большая эрудиция и тонкий вкус сказывались самым благоприятным образом на трудной работе редактирования огромного, почти безбрежного материала моего отдела. Надо признать также, что даже в вопросах специальных, далеких от предмета его непосредственных занятий, он всегда мог сделать дельное замечание, подать хороший совет, и все это осторожно, бережно, умно.

Мелькают, как в тумане, другие лица. И скольких из них нет уже в живых, и я невольно начинаю ощущать себя кем-то вроде регистратора из бюро похоронных процессий. Вот милый приятель по Красноярской тюрьме 1903 г. нижегородец Володя Лубоцкий. Это он прикрыл своим телом анархистскую бомбу в Леонтьевском переулке в 1919 г., погиб сам, но спас немало жизней. Он звался в Женеве Загорским (и его псевдонимом называли почему-то город Сергиев с его всемирно известной лаврой). Вот

В. А. Носков (Глебов), участник ранних с.-д. кружков и Северного (с.-д.) союза, член О. К. по созыву II съезда и ЦК по выбору последнего, крупный практик 90—900-х годов. Но не в добрый час попал он в ЦК! Очутившись, по возвращении в Россию, в полном одиночестве (Кржижановский немедленно отошел от партийной работы и не принимал в ней участия до 1917 г.), оказавшись между двух огней, он пошел на *coup d'état* [государственный переворот] (да еще не спросясь Ленина!): включил в состав ЦК (знаменитое право кооптации!) меньшевиков, рассчитывая таким *coup de force* [сильным ударом] восстановить единство партии. Он не купил этим даже и худого мира, навсегда уронив себя в глазах своих бывших единомышленников. Вскоре Носков ушел из ЦК, порвал всякие связи с с.-д. партией, уехал на Д. Восток и там, спустя несколько лет, покончил, по неизвестным мне причинам, жизнь самоубийством.

Вот М. Н. Лядов-Мандельштам (брат одного из основоположников московской с.-д. организации начала 90-х гг.). Старый партиец, автор чуть ли не первой — и очень слабой! — истории партии, Лядов стал большевиком с первых дней раскола. В описываемый период он был одной из *personae gratae* [признанных личностей] своей фракции: недаром именно его посылали в Амстердам (1904 г.) добиваться права на отдельное представительство ленинского кружка на Международном социалистическом конгрессе и во II Интернационале. Почему ему выпала такая честь, не понимаю, разве только если действовали по правилу «туда умного не надо, вы пошлите-ка Реаду». В «братском» кругу он стал притчей во языцех после его нелепого «Открытого письма к Г. В. Плеханову» и незаслуженно оскорбительного ответа последнего. Что и говорить! Лядов лишен, как бы это помягче выразиться? Ну, скажем, философской складки ума и шишки юмора. Но, Бог мой, если всех, кого так обидела судьба, третировать публично *en saipaille* [как подлеца], не хватит ни времени, ни бумаги. Да и что за корысть взять верх в остроумии над беззащитным в этом смысле контр-партнером? А как мы тогда весело хохотали, читая плехановскую отповедь, как беспомощно и зло издевались над Лядовым, забывая, что он не первый встречный и не случайный гость в с.-д. партии! Лядов одно время пытался даже мыслить самостоятельно, порвал с Лениным (естественное следствие его дерзости!) и ряд лет был не в фаворе в горних сферах своей фракции. Политическая звезда его давно и бесповоротно закатилась.

* * *

Значительно красочнее карьера В. Нилова, сотоварища Лядова по фракции, соавтора Лепешинского по карикатурам. Приехав в Женеву из ссылки в Тамбовской губернии, он с места в карьер отправил в «Искру», за подписью не то Нилова, не то Самсонова, бранчливо шутовское письмо о расколе. Редакция ответила, что не печатает таких писем, тем более от лица, чья принадлежность к партии ей неизвестна. Он послал второе письмо с указанием, что о его самоличности можно-де навести справки у брата Плеханова, исправника, под надзором которого, он, Нилов, будто бы состоял в Тамбовской губ. Ему ответили презрительным молчанием на эту, даже не по-лядовски, а просто по-бреттерски, неумно звучащую выходку. Он отомстил тем, что разнес по колонии сплетню о Плеханове-исправнике и нарисовал самого Г. В. на карикатуре в исправничьем мундире. Других заслуг перед своей фракцией он не имел, хотя подпись его и красуется, в числе прочих, под воззванием 22 участников совещания 1904 года. Впечатление таково, будто он и из ссылки-то прибегал лишь для такого легкомысленно школьнического озорства невысокого сорта.

Вспоминал ли когда-нибудь позже Николай Валентинович Вольский об этих своих эскападах? Став в 1905 г. меньшевиком, литератором, творцом собственной философской системы (эмпириосимволизма, не шутите!), он сохранил в неприкосновенности свои «ниловские» свойства, т. е. легкомыслие и мальчишество. Начиная с псевдонима! Он подписывал свои статьи Н. Валентинов, прекрасно зная, что этим псевдонимом пользовался

Г. В. Плеханов и что не принято присваивать чужие литературные фамилии. Постоянный сотрудник всех московских меньшевистских журналов, газет и сборников 1905—1907 гг., Валентинов спустя 2-3 года становится одним из активнейших публицистов (одно время даже редактором политического отдела) сытинской газеты «Русское слово», где, по его собственному выражению, «на правах политической демимонденки загребал крупные куши», в 1917—1918 гг. числится среди так наз. независимых социалистов, а кончает свой, не лишенный своеобразия, литературный и политический путь в роли руководителя газеты «За индустриализацию». Sic transit gloria mundi [так проходит мирская слава].

Несомненно, одаренный и умный человек, В. как типичный дилетант и богема не способен был вплотную, всерьез отдалиться кропотливой, усидчивой работе над каким-нибудь одним творческим замыслом. А вот так, сегодня — брошюра об аграрном вопросе, завтра — книжка об эмпири-осимволизме, вдруг статья о «Жизни человека» Л. Андреева и т. д., и т. п. «У меня легкость в мыслях необыкновенная», — говаривал небезызвестный И. А. Хлестаков. Многие, многие публицисты марксистского толка могли бы, наедине со своей совестью, повторить те же крылатые слова.

* * *

«Вот Олин, мелкая букашка» ... Я говорю не о пушкинском Олине, упоминаемом в «Моем собрании насекомых». Мой Олин — это женевский псевдоним Пантелеймона Николаевича Лепешинского, окрестившего себя так по имени своей жены О. Б. Лепешинской. Но если мой Олин не попал в коллекцию Пушкина, то отнюдь не в силу своих больших дарований. Казалось бы! Товарищ Ленина по ссылке, член О. К. по созыву II съезда партии, искровец, участник знаменитого Псковского совещания (у него же на квартире), где были заложены основы искровской организации и, так сказать, зачата «Искра»... Кому, как не ему, есть что рассказать об одном из интереснейших этапов становления и упрочения российской социал-демократии? И вот эти-то годы, годы пребывания Л-ского в Сибири и за границей, знакомства и встреч с различными лицами, так или иначе связавшими свою судьбу и имя с русской революцией, эти годы, говорю я, нашли поразительно скудное и бледное отражение в опубликованных им после 1917 г. воспоминаниях.

И это очень жаль. Юность русской с.-д.-тии плохо исследована и изучена прежде всего потому, что свидетели и участники событий тех лет почти совсем не оставили воспоминаний о делах и людях. Во всяком случае, их количество незначительно по сравнению с огромной мемуарной литературой, относящейся к 70—80-м гг. XIX века. Мы редко знаем свое подлинное предназначение. Лепешинский, несомненно, владел карандашом карикатуриста. Его далеко не дружеские шаржи имели шумный успех в Женеве, вызывая восторженное одобрение «ленинцев» и яростное негодование «мартовцев». Но Лепешинский зарыл свой талант в землю. Его политическая роль давно закончена, во всяком случае, задолго до смерти. Молодое партийное поколение, жадное до власти и положения, сдало в архив Лепешинского вместе со многими другими его однолетками.

* * *

Весна 1906 г., меня послали на массовку в Колпино защищать резолюцию ЦК об отношении партии к Государственной думе. Я говорил о роли и значении последней, о ее поддержке и защите от нападок реакции и правительства. Против меня выступал представитель Петербургского Комитета, несколько неуверенно державшийся на ногах, но весьма развязный и за словом в карман не лавивший. «Что значит поддерживать Гос. думу? Что значит толкать буржуазию влево?» — спрашивал риторически он и сам отвечал, под хохот и аплодисменты аудитории: «По-нашему, это значит дать ей по морде! Она и шарахнетя влево!». Резолюция ЦК едва ли

собрала 15—20 голосов, а отстаиваемая столь выразительно резолюция ПК — не менее 150. Мне стало и горько, и обидно. Какое же презрение надо иметь к слушателям-массовикам, чтобы беседовать с ними на таком языке? И вместе с тем: каков же уровень политического развития колпинских рабочих, раз они не только не освистали оратора, но, напротив, вручили ему свои голоса?

Мой противник триумфатором отбыл в Петербург. На вокзале он предложил мне «пропустить по рюмочке» в буфете. Я отказался; больше личных встреч у нас не было. Этого удачливого своего противника, Петра Анатольевича Красикова (сибирского уроженца), я встречал в 1904 г. в Женеве, где он был известен под именем Павловича. Это очень видная и колоритная фигура в искровской организации. Павлович начинал свою политическую деятельность задолго до «Искры», но развернул ее широко уже после своей сибирской ссылки (вместе с Лениным) и стал одним из активнейших и авторитетнейших искровцев (наравне с И. И. Радченко-Касьяном, Е. М. Александровой — Наталией Ивановой, Г. М. Кржижановским-Клэром и мн. др.). Он был членом О. К. по созыву II съезда и он же входил по кооптации в качестве 7-го члена в редакцию «Искры» в случаях возникновения неразрешимых конфликтов: такой чести у «шестерки» никто больше не удостоился.

С его объездами местных организаций связаны многочисленные, весьма нелестные для него, эпизоды, звучащие как анекдот. Об одном из них упоминает в «Что делать?» Ленин ⁴. Красиков, подготавливая важное партийное совещание (ноябрь 1902 г.), где должны были участвовать и бундовцы, явился на явку в Вильно в столь пьяном виде, что его оттуда выгнали. Отрезвившись, Красиков постыдился показаться на глаза бундовцам, сбежал из Вильно, не пригласив последних на совещание. Естественным следствием этого были нарекания и жалобы на искровскую тактику и политику.

Красикову принадлежала одна из первых брошюр о II съезде, расколе и т. д. (так наз. отчет О. К.). Эта книжонка, вместе с «Отчетом Сибирской делегации» (Троцкого и д-ра Мандельберга-Посидовского) явилась самым ранним первоисточником, дошедшим до России, из коего полагалось черпать информацию и объяснения. Увы! И эти генштабисты ничего толком сказать не сумели. Причины и смысл раскола остались непонятными и неразъяснимыми. Ясно лишь стало, что даже избранные, именитые наши люди блуждают во тьме не лучше нас, грешных.

Я не встречал Красикова после колпинского поражения. Но кое-какие черты и факты из его дальнейшей частной и общественной жизни мне известны. После разгрома революции он отошел (в 1907 г.) от партийно-политической деятельности и мирно адвокатствовал вплоть до 1917 г. в Петербурге. Но бес его попутал: Красиков растратил клиентские деньги. Ему угрожало по меньшей мере исключение из сословия с запрещением практики. Дело кое-как замаяли. Спасали, разумеется, не проворовавшего адвоката, а честь партии, с которой Красиков некогда был связан. А затем он, этот живой труп, опять после революции 1917 г. всплыл на поверхность и стал высокой особой в судебном ведомстве после Октября как раз там, где Фемида слепа, но зато многие ее жрецы и прозорливы, и дальновидны ⁵.

* * *

В кругах московской радикальной интеллигенции вращалась в 90-х гг. чета В. Д. и В. М. Бонч-Бруевичей, тесно связанных с с.-д. подпольем. В. М. Бонч-Бруевич-Величкина была детским врачом, ее муж — литератором, большим знатоком русского раскола и сектантства. В частности, он принимал активное участие в организации трагического исхода духоборов в Канаду. Вероятно, именно в силу этой своей давней близости и интереса к сектантству Б.-Б. стал инициатором и душой начавшего выходить в Женеве после II съезда партии специального журнала для сектантов «Рассвет» (в качестве органа ЦК). Каким образом Бончу удалось соблазнить делегатов съезда этой ветхонароднической легендой о мнимой предрасположенности

рационалистического сектантства к вольномыслию и социализму (это после фиаско Герцена и землевольцев)? Понять это трудно и не мне браться за объяснение. Особенно непонятным кажется решение съезда, если вспомнить глубоко враждебное отношение классического искровства (= ленинизма) ко всяким популярным органам и самостоятельным местным газетам и пр. Недаром съезд прекратил существование «Южного рабочего» и т. д. Но Б.-Б. умел добиваться. И хотя его журнал очень быстро отцвел, сам Бонч, наоборот, пышно расцвел в качестве видного участника немногочисленного ленинского кружка.

В момент моего приезда в Женеву Б.-Б. ведал всем партийным хозяйством: типографией, издательством, библиотекой, архивом, экспедицией и пр. Впоследствии, вернувшись в Россию, он не раз являлся создателем и руководителем крупных партийных, преимущественно издательских предприятий («Наука и жизнь», «Коммунист» и т. д.). Пока жив был Ленин, Б.-Б. играл крупную роль в госуправленческом аппарате, не столь, может быть, заметную, как рисует он сам в своих воспоминаниях, но во всяком случае достаточно видную и авторитетную (например, управляющего делами Совнаркома). За ним ходила слава опытного администратора. Смерть Ленина положила конец его политической карьере. Не знаю, заслужена ли им его репутация умелого, делового организатора. Но литературные его упражнения бледны, безвкусны и зачастую бестактны. Да иного и нельзя ожидать от человека, дебютировавшего выпуском в свет бездарной политической антологии «Избранные произведения русской поэзии»!

* * *

На одной, чуть ли не единственной при мне, вечеринке (где должен был выступать с докладом Г. В. Плеханов) произошло бурное столкновение, почти драка, между большевиками и меньшевиками, свидетельствовавшее наглядно о напряженности отношений между «братьями». Невольной причиной этой сцены, где от оскорблений словом пытались уже перейти к рукоприкладству, послужила невинная попытка большевика С. И. Гусева (Драбкина) выступить с вокальным номером. И хотя он обладал превосходным баритоном, проявить свои дарования ему не позволили меньшевики, устроившие дикую обструкцию, едва не повлекшую за собой рукопашную. Непартийная публика, привлеченная жадой поглядеть на Плеханова, в панике начала разбегаться. И только вмешательство бундовцев, вставших стеной между махавшими кулаками членами одной партии, прекратило эту оргию. Лишь ворожившая Гусеву бабушка спасла его от тяжелого увечья, которое намеревался причинить ему пивной кружкой один экзальтированный и слегка хмельной меньшевик.

Я только после этого несуразного званого вечера узнал о причинах столь пылкой нелюбви к Гусеву, делегату II съезда от Ростова-на-Дону. Его обвиняли в злонамеренном, сознательном составлении и распространении на съезде подложного списка кандидатов в ЦК, предлагаемого якобы группой меньшевиков во главе с Л. Г. Дейчем. В списке фигурировали «антиискровцы» и «оппортунисты». Надо представить себе накаленную и без того атмосферу, царившую на съезде, в напряженнейший момент борьбы за влияние фракций, за влияние на колеблющихся, нейтральных делегатов, за будущее руководство партией («за дирижерскую палочку»), чтобы понять и оценить *tour de force* [силовой прием] Гусева! Съезд колотся на две почти равные части (22:20, 24:22), и от одного-двух голосов, казалось, зависела судьба всей русской революции.

Здравомыслящему стороннему наблюдателю ни за что не понять причин негодования и возмущения, охвативших меньшевистскую фракцию съезда. Дело вовсе не в том, что Гусев учинил подлог и оговорил почтеннейшего ветерана революционного движения Л. Г. Дейча. Нет! Оскорбление, видите ли, заключалось в возможности допущения самой мысли о готовности «мартовцев» пойти на блок с оппортунистами! Что это за зверь, никто еще толком не знал, расшифровывая это понятие примерно так, как

в «Ревизоре» разгадывали хлестаковского «моветона»: «Хорошо, коли мощный, а может быть и того хуже!». Дело доходило до третейского суда. Я не знаю, имела ли здесь место просто неумная шутка или преднамеренное стремление опозорить «братьев», что вполне во вкусе подполья. Но имя Гусева стало нарицательным в нашем кругу и произносилось с глубоким презрением. Годы смягчили остроту обиды, и на Стокгольмском съезде партии в 1906 г. меньшевики не только не противодействовали участию Гусева в хоровом исполнении «Интернационала», но даже сами предлагали ему начать запев.

В годы гражданской войны 1918—1920 гг. Гусев выдвинулся на должности военного работника — комиссара Красной Армии. Довольно интересны воспоминания Гусева о женевских временах. Они крайне пристрастны и очень характерны для так наз. профессиональных революционеров того фанатико-нигилистического пошиба, который был модой в некоторых кружках разночинной интеллигенции 70—80-х годов. Гусев не может — через 30 лет! — простить Плеханову его «барственности». А барственность заключалась, между прочим, в том, что Г. В. вместо того, чтобы 24 часа в сутки размышлять про себя и вслух о судьбах мировой революции и задачах международного рабочего класса, отдавал частицу своего времени *petits jeux* [легким играм] с дочками. О, лукошко российского глубокомыслия, сказал бы в данном случае Д. И. Писарев!

Post scriptum: Во извинение Гусева добавлю, что Л. Д. Троцкий, пользовавшийся глубокой антипатией Плеханова с первых же дней появления своего в Женеве, с осуждением вспоминает, как покорило Г. В., когда некий приехавший в эмиграцию рабочий, при посещении Плеханова, бесцеремонно уселся без приглашения на кровати Г. В. Троцкий, весьма барственные замашки которого ярко проявились в послеоктябрьскую пору, видит в этой брезгливости Плеханова презрение к пролетариату и чуждость его интересам. Комментарии поистине не нужны!

(Продолжение следует)

Примечания автора

1. Этих обществ давно уже нет (1939 г.).
2. «А нынче, где ты, человек?». Щедрин всегда утешался уверенностью, что и об этом мы прочтем лет через 30 в «Русской старине». У нас такого утешения нет.
3. Письма к сестре из с. Шушенского, в частности, по поводу книги Богданова «Исторический взгляд на природу».
4. Не называя виновника скандала и обходя полным молчанием обстоятельства этой скандальной истории.
5. По поручению высокого учреждения на Лубянке Красиков на правах прокурора ездил на Соловки расследовать дело об обстреле политических на прогулке. В своем бесстыдном отчете он старательно обелял действия высокого и невысокого учреждений по методу городничего: «Она сама себя высекла, они сами себя обстреляли».